ИВАН ЕРМАКОВ



СОЛДАТСКИЕ СКАЗЫ







ИВАН ЕРМАКОВ



СОЛДАТСКИЕ СКАЗЫ



Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1978

Р2
Е72

За плодо-
творную
работу в
жанре сказа,
за неповторимую самобытность,
свежесть и сочность
глубоко народного языка
Ивана Ермакова (1924—1974)
по праву называют
писателем бажовской традиции.
И особое место
в творческом наследии
талантливого тюменского литератора
занимают сказы о солдатах, защитниках Родины.
Прошедший огневыми дорогами войны
от российских равнин
до самого фашистского логова,
Ермаков хорошо понимал и чувствовал
характер русского советского воина —
мужественного, находчивого, душевно щедрого,
всегда имеющего про запас
острое словцо, ядреную солдатскую шутку.
Герои сказов Ермакова
и в мирной жизни
остаются в душе солдатами —
горячими патриотами,
бескомпромиссными
борцами
за правду
и
справед-
ливость.

Е $\frac{70803—086}{М158(03)—78}$

© Средне-Уральское книжное издательство, 1978



*

ПОРЧЕНЫЕ СОЛДАТЫ

Немало деньков у красиого лета, да только одии какой-ннбудь душа сберегает. Метелн повьют, морозы ударят, а вспомнншь его, этот денек, н потеплеет в твоей грудн. Так и человека... Многих я на своем веку перевидал, не поле перейдено — жнзнь прожита, а Ивана Николаевича не с кем мне поравнять. Гляжу вот на его портрет и памятью сличаю. А она, хоть и старая, память-то моя, да не вовсе проржавела. Есть там такие уголочки, где прожнтое ровио зеркальцем отражается. Как про такое не рассказать.

На любвн да иа славе ходнл у солдатской братин фельдфебель Коршунов. За веру да царя живот сложить — это еще и подумать и погодить можно, а за не-

го — рисковали. Прост был с солдатом, ровен, человека в нем искал. Не зря, когда начальства близко не толклось, не фельдфебелем его, а Иван Николаевичем рота звала. Мы за ним, как за отцом родным, жили. Одеты, обуты по ноге, по мерочке, убоинка в котле не переводилась, в баньку — и мыло тебе, и веничек. Одним словом, правильно нас в полку «румяной» ротой звали.

Лих да брав, весел да удал по земле ходил наш фельдфебель. Всегда до отсверка выбритый, усы в два тонких жальца сведены, глаза — серые, крутой, громкоголосый — пружина человек! С ним и служба веселей шла. А веселей — всегда легче! Посильна, говорят, беда со смехами. И не зря говорят. Кому служить довелось, тот помнит, какие они первые-то месяцы... Затоскует человек. Маменька с тятенькой на ум падут, зазнобушка, пес Валетко тут же как живой предстанет. И в ночное съездишь, и на деревенском кругу побываешь, и черт-те куда не заплетешься. Осоловеешь даже. Сам в строю, а мечта — в раю... Иван Николаевич мигом таких-то в солдатское естество приводил. Сейчас побасеночку! Тут тебе и как служивый человек сатану к присяге приводил, и как роту чертей ученьем замучил, и как в табакерку смерть свою засадил. За вечер так бывало ухохочешься, под вздохи колет. Осоловелого тоже проберет: что годовалый стригун ржет. За это самое нас, кроме «румяной», еще и «веселой» ротой прозывали.

Солдаты из других рот в шутку не в шутку, а выскажутся:

— Дайте нам своего фельдфебеля хоть на недельку. Вша с тоски заела.

Пустяки вроде солдатская байка, а Иван Николаевич со смыслом ею солдата пользовал, с загадкой. И сам он был человек с загадкой...

Как-то перед отправкой в Маньчжурию купил Иван Николаевич где-то козла. Здоровенный козел, пегий, в три масти — Захаркой звался. Копытца, рожки ему вы-

золотил, бородку подровиял, на шею поясок шелковый с лентами повязал. Изукрасил, одним словом, как циркача какого, н стоит, любуется.

Мы, понятное дело, интересуемся: ежели в котел, то к чему золотые рога, ежели на позицию... Тут уж вовсе в тупик зайдем.

— В том-то и дело, что на позицию,— поясняет нам Иван Николаевич.— Знайте,— говорит,— что козел в бою удачу приносит. Во французской армии в каждом полку, почитай, окромя командира, попа-капеллана, знамени, денежного ящика, еще и козел имеется. Издавна у них так-то заведено.

— Значит, и мы на французский манер?

— На французский не на французский, а все солдату веселей, ежели какое дыханье рядом, пусть бы и козлячье даже...

Видал, с какой он думкой!

А так оно и выходило. Солдат кругом казенный Окромя винтовки, шинели да котелка, родни нет. Тут любой животинке рад будешь...

Стал наш Захарушко ротиым любимцем Ласкать его да играть с ним в драку любителей насбирывалось. И кусочек ему несут, и капустиую кочерыжку, и сахарком балуют, а другая добычливая душа рюмочку принять сговаривает:

— Откушай, Захарыч! Один раз живем!..

Когда тронулись эшелоном, вовсе Захарко дорогим подарочком оказался. Всех-то в вагоне он обойдет, у каждого мякоиькими губами в ладонях пошарнтся, хлеба, соли отведает да еще и сладенького выкляничит. Целый день цыганит. Заиграют на балалайке — Захарка тут как тут: уставится на музыканта и вертит башкой. То так, то эдак ее склонит, вроде как лады запоминает. А как песню заведем: «Шел солдатик из похода...», н подкозлоголосит. Уморушка. Уж и петь перестанут, а он все мемекает. Растревожился, значит.

Потешались с ним так-то до поры, а пришла оиа — довелось нашему Захарке другнм делом заняться, хоть бы н не козлу впору.

Был в нашем взводе Петров Семен, рядовой. Нничего особого в нем не замечалось, кроме разве того, что грамоте хорошо он зиал. Днями, бывало, проснжнвал — книжки читал да письма иам иа роднну строчнл. Однако себе на уме пареиек. Мы едем, песнн поем да по уголкам «короля за бородку» тянем, в «двадцать одно» то есть дуемся, а он все заботиый какой-то. Под вечер темио станет — про японца разговор зайдет:

— У них, братцы, вся держава морская. Он, японец, нырять, сказывают, ловок, а на земле, на сухопутьн то нсь, его раскачка берет. Ну, стало быть, мушку-то у внитовкн ему и не словить... Палит куда попадя...

Петров возьмет да и осадит:

— Испробуете, как жареный петух клюется...

Мы с малого ума иа иего:

— Гляди-ка чем застращал! Да иешто ои, желтопупик, может против русского устоять! Мы аржаиушиики небось, а ои — рнсоед. С птичьих-то харчей иемиого с русским иавоюешь.

А кто еще и такое выскажет:

— Они, япошки, поголовно все больиые... Хворость такая по иим ходнт — сонная чума зовется. Ходнт он, работает, вроде как и здоровый, а как двенадцать часов дня пробьет — кого где застигло, тот там н засыпает. Вся Япония спнт. А храпят — острова, говорят, колыбаются. Тут ты, зиачит, н подбирайся к нему, к куриной слепоте, иаповид хоря, и свертывай, зиачит, башки по очереди...

Петров опять остудит:

— Смотри, паря, как бы тебе без очереди не свернули.

Ну и прочее так.

Все больше намеки подкидывал.

И вот один раз на поверке кого нет? Петрова нет. На нары заглянули, из-под нар повыкликивали, мешки разбросали — исчез Петров. Наказал нам Иван Николаевич молчать пока, а сам по эшелону отправился. Не загулял ли, мол, где у дружков. Прошел весь эшелон — пропал. Порешили так, что отстал где.

Докладывать про этот случай Иван Николаич повременил в надежде, что через денек-другой догонит нас Петров. Ну и догнал!.. Только не Петров, а сам командир дивизии. И взбреди ему прицепить свой вагон к нашему эшелону. Перед сражением, дескать, солдат должен видеть своих начальников, один бравый вид которых ему победу являет.

На другой день на каком-то разъезде смотр нам назначен был, Иван Николаевич не в себе ходит: Петрова-то нет. Мы тоже притихли. Знаем, что за дезертира его по головке не погладят. Строго взыскивали. Не иначе идти ротному докладывать.

Выслушал ротный Ивана Николаича и говорит.

— Знаешь что. Фельдфебель, который солдата потерял, еще фельдфебель, а вот который его не найдет — это уж полфельдфебеля. Так что смекай, выкручивайся на смотру-то. На всякий случай знай, что генерал с пяти шагов архиерея от погорельца не отличит. Может, и не заметит, что ряд неполный. Близорукий он. Ему бы гусей пасти белых, а не дивизией командовать. За славой едет, за крестами, немецкая колбаса...

На остановке заходит к нам Иван Николаевич.

— Ну как? Нет Петрова?

— Никак нет!

Поймал он тогда Захарку за шелковый ошейник и говорит:

— Примай, когда так, Захар, присягу. С нынешнего дня ты больше не козел, а четвертой роты нижний чин под фамилией Петров Семен. Разыщи-ка, ребята, шинель, папаху да сапожишки — обмундировать надо рек-

рута. Да вот что. Сейчас смеяться — кто сколько продышнт, а в строю — нн гу-гу!

Поставнлн мы Захарку на дыбки, шннелку, папаху, сапогн на него наделн, ремешком подчембарили, смотрнм — солдат нз козлнной образнны получается. Кабы в тот момент кто заглянул к нам в вагон, не иначе бы подумал, что умом тронутых нлн контуженых везут: впокат все начнсто переваляднсь. Я с измалетства смешлнвый, не одну шншку от тятиной ложкн на лбу нзноснл — не фыркай за столом — а так разу ие хохотал. А он... он, скотнна, стонт, сурьезным взглядом на всех поглядывает да еще губамн своннн чего-то шевелнт.

Иван Нnколаевнч оглядел сыздаля — тоже усами заповоднл.

— Сойдет,— говорнт.— Раздевай его, ребята. А в случае команды на смотр, снаряднть таким же манером н на место Петрова в строй поставить.

Потом к Захарке обратнлся:

— Извнняй,— говорнт.— Захарушко. Бородку тебе снять прндется. Нам это не в масть.

Наказал он еще на случай переклнчки отгаркнуться за козла н по своим делам заспешнл.

До этого мы все полагалн, что он шуткн шутит, а тут засомневало нас.

Вернулн его, спрашиваем:

— Неужелн, Иван Нnколаевнч, и вправду козла в строй поведем?

— Да,— говорнт,— поведем.

— А ну как заметнт генерал?

— Не может того быть,— говорнт,— чтобы целая рота солдат одного генерала не провела.

— Ну а... ежелн?

— А ежелн... Вы вот спрашнваете, откуда я солдатскне байкн добываю,— вот н вам будет байка про козла Захарня да фельдфебеля Коршунова. Только не поми-

рать раньше смерти. За добрую выдумку с солдата половины скидывается, а другой командир и всю прощает. Так-то, братцы.

Ну, на первый раз все благополучно сошло. Стоял Захарко третьим в ряду, передними ногами Ваське Ложкину в спину упирался, с боков его локотками стерегли, а больше всего винтовка его к строю понуждала. Ремнем-то он с ней заодно запоясан был. Падать доведись — вместе с винтовкой пришлось бы. Заслоняли его кто плечом, кто папахой от чужого глаза. Пронесло.

Едем дальше. Петрова все нет и нет. Опять генерал к нам пожаловал. Любил он перед строем гоголем пройтись. Чудной какой-то был. Шлюмпельплюнь или Шлюмпеньхлюст его фамилия была — запамятовал. В приметы всякие, как баба на сносях, верил, сны по книжкам растолмачивал, высокие речи произносить любил.

— Братцы! Не устрашимся смерти за государя-императора нашего, за веру православную!

Норовит так-то перед строем пройтись, а где уж там, когда нога за грудью не поспевает.

Поздоровался с нами:

— Здравствуй, четвертая!!

Мы не остереглись да во всю дурнинушку:

— Зздрррра-а-а!!!

Захарку-то и переполохали... Забился он, замемекал, из-под шинелки шрапнелем стрелил! Братец ты мой!..

У Шлюмпельплюня нос клюквой наспевать начал, бровями замахал...

— Эт-та што?!

Ротного той же секундой кашель схватил, а Иван Николаевич тут как тут.

— Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство... Это рядовой Петров, порченый он у нас. Порча на

него напущена. Это она в нем таким манером взбебекивает.

— Как же он через комиссию пропущен, порченый? Мне порченых солдат не надо.

— Должно быть, фершала недоглядели... Да вы, ваше превосходительство, не извольте тревожиться!.. С ним редко так-то. В строю первый раз случилось.

— Больше его в строй не ставить! Что получается? Вся рота командира здравствует, а он козлом ревет... А случись государь или великий князь?..

Иван Николаевич позвонки в струнку.

— Слушаюсь! — кричит.— Ваше превосходительство!!!

Отмякнул Шлюмпельплюнь. Отпустил солдат. Когда разошлись, ротный хохотать начал:

— Как это ты про порчу-то сообразил? — у Ивана Николаевича спрашивает.

— Надо же было как-то вызволяться, вот и сморозил.

С тех пор у нас и повелось: не хватает в строю человека. «Кого нет?» — «Порченого»! Ну и ладно. Захарку все-таки, на случай, если по вагонам проверка пойдет, обмундировали да к нарам в лежку привязывали. «Родимец, мол, бьет его».

Так он с нами до самого места и доехал. Потом пешком четверо суток шли. Захар от своей роты ни днем ни ночью не отстает. Приказывают нам рыть окопы... Слух явился, что где-то обошел японец наших и сюда направляется. Тут уж не до потех стало. За день до того земле накланяешься, что не ты лопату или кирку водишь — она тобой руководит. Вот ребята и придумали Захарку с собой за окопы выводить. «Веселей, мол, с ним в секрете и сон не так одолевает». Больше, конечно, для отговорки эта речь велась, насчет сна-то. Все равно подремывали. Японец неизвестно где, ну и особо не остерегались. Захарко же этим моментом соберется и пошел

на китайские огороды пропитал себе добывать. Черт-те куда заберется. Китайцев повыселили которых, которые сами поубегали, ему и волюшка.

Там-то одной ночью он и повстречался с японцами. Отряд разведки ихней шел. Увидели Захарку, вот думают, и шашлык-махан на закуску. Стрелять поостереглись — изловим, мол, да прирежем. Захарка чует — нерусский дух, занюхтил сопаткой, зафыркал да наутек. Японцы вдогон. Кто-то ему беговую жилку на задней ноге штыком троиул. Взревел Захарушко и на трех ногах в свою сторону скачет. В секрете услышали — неладно козел ревет — на всякий случай тревогу сделали. Сгрудились мы в окопах, глядим в сумрак. Скачет Захарушко, ревет задичалым голосом, а японцы за ним по пятам. Саженей семьдесят от нас осталось. Окружили они его, кольцом сжимают. Офицеров в окопах с нами не было: они по фанзам ночевали, один Иван Николаич тут.

— Ну-ка,— говорит, братцы, изготовьтесь! Бери их врукопашную! Легким шагом — за мной!

В это время самураи Захарку на штыках подняли. Гогочут! Тут мы и взяли их... Збанзайкать не успели, «уру» свою скричать...

Услышали шум офицеры, набежали.

— В чем дело?

— Глядите в чем!..

Японской полуроты как не бывало. Три человека, верно, плену запросили, ну их шагом-мигом в штаб. А мы давай подбирать своих, которые пораненные штыками оказались. Захарушку тоже в окоп спустили. Прикрыли шинелкой — лежит сердешный, ни у кого уж сахару не попросит.

На восходе солнца прибыл к нам Шлюмпельплюнь. Ему о деле доложено было.

Поблагодарствовал он нас за службу, потом спрашивает у ротного:

— Кто отличился?

— Фельдфебель Коршунов, ваше превосходительство. Он водил роту и в рукопашной уложил троих неприятелей.

Шлюмпельплюнь подманил адъютанта, взял у него шкатулку, достал оттуда Георгиевский крест и сам приколол его к шинелке Ивана Николаевича. После спросил про нашу потерю.

Ротный докладывает:

— Четыре нижних чина, ваше превосходительство.

«Как,— думаем,— четыре? Три только...» Потом уж смекнули, что Петрова Семена, «Порченого», тоже в упокойники определяют. Не числился чтобы, значит, по спискам. Так их и батюшка отпел. Троих православных и одного козла.

С того самого дня началось у нас с японцем боедействие. Попервости удивлялись мы: как так получается? Что ни бой, японец нам вложит да вложит? Кажись, и храбрости русскому солдату не занимать, и за смекалкой не в люди идти, да и Россия за спиной громадная. А без толку все. У японца пулеметов — что у богатого собак. С каждой сопочки на нас погавкивают да покусывают. Артиллерия — орудьев не перечесть. У нас же больше штык да «ура». Не раз про «жареного петуха» вспомнить пришлось. Видно, не с проста языка Петров говорил... Его правда.

Дальше такое пошло, что мы и веру в себя всякую потеряли. Это не к тому сказано, что наш солдат над собою японского поставил,— он, мол, способней к бою,— а к тому, что неладное наш солдат почуял. Про измену разговоры пошли, про грызню генеральскую, про скудоумье ихнее. Теперь уж Микаду реже вспоминали, больше своего чехвостили. Нашу дивизию пополняли, пополняли, а все равно так растребушили к концу войны, что пришлось ее в тыл отвести.

Тут и объявился Петров Семен. Он, оказывается, в это время, пока мы за царскую дурость расплачива-

лись, натуральным подпольщиком сделался, революционером.

Попервости украдкой с нами встречался. Стал нам листки тайные передавать, растолковывать многое.

— Вы,— говорит,— льете свою кровь, калечитесь, а за какой интерес? Нужна вам китайская земля? Из вашей крови царь с компанией новые миллиончики себе составляет. Вас гонят на убой, продают, сиротят семьи и такой вот разбой прикрывают Отечеством. А в Отечестве, братцы, идет Революция. Народ восстал. Здесь опять царю ваши штыки нужны! Нужны солдаты-братоубийцы...

До войны заведи-ка он такие разговорчики! Сдуру руки бы завернули да к ротному доставили. А сейчас — молчок. Даже сберегали его. Сам не знаю, как вышло: то ли потому, что с Захаркой его судьба перемешалась, то ли для тайности, а только стали его промеж себя «Порченым» звать. Ивану Николаевичу тоже известно стало, что Петров объявился, но он и ухом не повел.

— Мало ли,— говорит,— Петровых на свете. Своего мы в Маньчжурии схоронили, знаете, поди-ка, а до других Петровых нам дела нет.— Вроде намека давал: лишний, мол это разговор.

Воевать нам больше не пришлось. Замирились с Микадой. А как — все, поди, знаете. На своем позоре замирились. Да и Миколашке не до Восходящего Солнца стало — такие зорьки по России заполыхали.

Помню, мы в Чите стояли. Вдруг прошел слух, будто хотят нас послать бунт на железной дороге усмирять. Петров этот слух подтвердил. Листков дал, митинг велел собрать.

Загудело, затревожилось серое улье:

— Не пойдем против свово народа! И так спустили русской кровушки...

— С японцем не совладали — бей своих?!

— Пусть дура-гвардия едет да смиряет!

— Ежель штаны сухие...

— Здесь им не Петербург! Не с безоружными...

Петров выступил, от железной дороги делегат, потом слово взял Иван Николаич.

— Братцы! — говорит.— Вы меня знаете. Вместе прошли одну судьбу, сражались с неприятелем, хоронили своих товарищей... Вот мои руки! Они чистые. Вражья кровь простой водой отмывается, а братнюю вовек ничем не смыть. И пусть мне их завтра отсекет палач — не подниму ружья против своих! Мы на каинство присяги не давали.

Порешили на митинге из казарм никуда не выходить, винтовки в пирамиды не складывать, с рабочими держать связь.

Шлюмпельплюю кто-то, видно, доложил, что мы митингуем,— прикатывает в казармы. Офицеры повыскакивали из штаба, повытянулись, а он на них как затрясет кулачком. «Сукины сыны!» — кричит. Потом построить нас приказал.

— Вы что же,— спрашивает,— бунтовать?! Присягу рушить вздумали?!

Сзади кто-то и крикни:

— Мы присягу не давали со своим, русским, народом воевать!

— Бунтовщики не русский народ. Они враги государя и Отечества, и поступать с ними должно как с неприятелями.

Опять голос:

— Дак их откуда хоть завезли столько, анафемов?! Какой же они нации, ежель не русские?

Шлюмпельплюинь на это промолчал. Зачинщиков стал требовать.

— Нету зачинщиков! — отвечаем.

— То есть как нету?

— Так что все мы зачинщики!

В это время в строю кто-то по-козлиному заблеял.

Шлюмпельплюнь насторожился:

— Эт-та кто? Порченый опять?! Я же приказывал в строй его не ставить!

А кто-то, звонкоголосый, на весь плац:

— Не волнуйся, твое превосходительство! Мы здесь все порченые! Зачем не видишь: подхватит нас!

— То есть как подхватит?

— А так подхватит, что тебе небо с овчинку покажется.

И пошло:

— Бэ-ээ!!! Мэ-э-э!!!

— Долой самодержавие!!!

— Кукареку-у-у!!!

— Забыли «Потемкина»?!

Шлюмпельплюнь взапятки, взапятки, потом повернулся да бежка.

С тем и уехал.

Мы к той поре и верно «подпортились». Красным душком от нас попахивало. Дружней бы всем взяться — сколупнули бы Николая. Быть бы бычку на веревочке. Ну да урок впрок был. В семнадцатом за милую душу сгодился.

Иван Николаич внедолге тут распрощался с нами.

— До свиданья,— говорит,— братцы. Не поминайте лихом фельдфебеля Коршунова.

— Дак тебя как,— спрашиваем,— командование, что ли, куда переводит?

Помолчал он маленько, потом вполголоса:

— У меня, ребята, теперь другое командованье...

И тоже, значит, как Петров. Исчезнул. В подпольщики ушел.

Вскорости и нас по домам рассортировали. Рисково стало таких-то при оружии держать. «Порченые»... В четырнадцатом только затребовали.

К девятнадцатому году дома я уже был. Раны от Деникина изнашивал. И вот вступил в нашу деревню

красный полк. Вызывают меня к командиру. Знал бы к кому иду — быть бы моему костылю орловским рысаком. Иван Николаич командовал тем полком! А комиссаром у него — Петров Семен. За революцию бились «порченые» солдаты! Ну, тут я к ним же, недолеченный.

Сейчас вот гляжу на ихние портреты и шевелится пух на моей лысой голове. Гордый ознобчик ее покалывает. «Здравствуйте, боевые други! Еще не все старые «манжуры» на тот свет откочевали. Есть, которые былое вспоминают да сказы про то сказывают».

*

1963 г.



*

АВРОРИН ТАБАЧОК

Спасибочко — не курю. Я табачок через нос употребляю. С гражданской войны привычка. Не желаете щепотку? Как хотите... Редко, говорите, встречать приходится нюхальщиков? Это верно. Вымирает наш брат. Скоро и на развод не останется... Папиросы да махорка на каждой полке, а «нюхательного» с огнем поискать. Откуда же ему народиться, нюхальщику-то? Ну, да беда не велика! Мы вот-вот отнюхаем свое, а молодежь — кури каждый свой сорт.

Я поначалу тоже курил. А нюхать — это уж в партизанском бытье начал. Мы одно время поголовно, считай, всем отрядом носы смолили.

Случай такой вывернулся. Прослышал наш коман-

дир, что в одном японском гарнизоне овес на складах лежит. Решили мы этот овес что бы ни стоило добыть. Потому — зарез выходил: зима, тайга, бескормица. Нашу «кавалерию» хоть сейчас на поганник вывози, хоть денек погодя. Истощали кони — нога за ногу задевает... Ну и одной ночью расхлестали мы япошек. Овес забрали, бинты, лекарства, харч, конечно, и между прочим пять ящиков табаку этого самого захватили. С куревом-то у нас тоже «ох» было... Мох да веничек в завертку шел. Вот и перешли на понюшки.

Другие химики водой пробовали его смачивать, чтобы в крупку потом согнать — да без толку. И так и эдак истязали табачишко, а тоже к тому же подошли, что и мы, грешные. Тоже зеленую жижку по подносью пустили. Чиху было попервости! Смеху! Веселый табачок оказался. Так, с шутками да смешками и подзаразились нюхать. Другие на всю жизнь унаследовали. Ну, и я табакерочкой обзавелся. Она, видите, предназначена, чтобы масло ружейное, щелочь в ней таскать — армейская, словом, масленка. А при надобности и под табак годится. У кого изжога бывает — соду в ней носят, писарь чернила разводит, охотник — пистоны, стрихнин хоронит — под всякую нужду посудинка. Как говорите? В музей сдать? Партизанская, стало быть, табакерка? М-да-а... Оно, конечно, лестно ей в музее стоять, да по заслуге ли честь? Всего-то и боедействия от нее, что партизанскому носу скучать не давала... Нет уж, если ставить табакерку в музей, то не эту. Нет, не эту...

А есть такая! Вот та по всем статьям заслуженная. Многим она известна была. Где она сейчас — точно не скажу, а на след наведу.

Ходил у нас на известье да славе паренек один... Федей прозывался. Попутно еще «шкетом»... Отменной храбрости и героизму парнишко был. Партизанский связной и разведчик... Отчаянная голова, трижды отпетая! И всего-то ему в ту пору восемнадцатый годок шел.

На слуху он стал после того, как у командира полка «дикой» калмыковской дивизии среди бела дня коня в тайгу угнал. Японского повара, в кашеварке завинченного, он же привез... Тот, значит, подгорелые пенки выскребал. Росточка небольшого — воткнется с головой в кашеварку и скоргочет ножом. На цыпочках вытягивается... Ну, Шкет его и уследил! Приподнял за лодыжечки, ноги в котел завернул, крышкой прихлопнул да — по лошадям. Кашеварка-то запряжена была за водой ехать.

Мы вторую неделю на сухарях да жмыховых лепешках перебивались, а тут, смотрим, каша подъезжает! В один момент котелки, миски в руки, ложки наизготовку — окружили трофею.

А Федя на нас:

— Вы что! С голодного острова, что ли? Никакого порядка!.. А ну, становись в затылок, разевай глаза, звенькай в котелки — всех удоволю!

С тем и отвинтил крышку.

Японец поднялся, плачет стоит, а мы такое «га-га-га» по тайге пустили, аж шишка валится. Накормил, прокурат!

Много, одним словом, за ним удалых дел значилось. Он и калмыковцам и японцам солоно достался. Немало ихнего брата изловил да жизни решил. Сумму даже за него назначили. Только Шкет и ухом не вел! Свое продолжал...

Храбрость, однако, храбростью, да не одной ею знаменит был наш Федя! В редком отряде про его табакерку не наслышаны были. Порох берег в ней Федя...

Он в самую революцию, в Октябрьскую, значит, в Петрограде проживал. Ну и когда «Аврора» сыграла Керенскому отходную, он наутро где-то раздобыл лодчонку да и пригребся к крейсеру.

— Чего надо? — спрашивают.— Кто таков?

А он поднялся в рост в лодке-то и звонкоголосит на всю Неву:

— Товарищи революционные матросы! На Тихий океан еду!.. Батя у меня там на флоте!.. Дайте мне горстку пороху, которым вы по старому миру палили — я его Тихому океану покажу.

Его гнать:

— Брысь отсюда, салажонок! Не знаешь — к военному кораблю подходить не дозволено?! Надрать вот уши-то!..

Другие опять налима в штаны засадить грозятся.

Так бы ему и уплыть ни с чем, кабы не один заряжающий.

— А что,— говорит,— братки,— ежели нам и в самом деле Тихому океану нашего аврорииского балтийского порошку послать? Для затравочки! Там, поди-ко, тоже дела будут... Мы аукнули — им откликнуться!

Ну, значит, задел он ребят за живое этими словами. Они, флотские-то, любят друг перед другом... Знай, мол, Тихий океан наших балтийских! Допрашивать они Федьку давай:

— А верно ли, на Тихий поедешь? Может, треп один.

— Утонуть мне на этом месте и дна не достать невского! — поклялся им Шкет.

Заряжающий тогда добыл макаронок пять пушечного пороху, порушил их, намял в табакерку и подает Феде:

— Держи, голубь. Это ничего, что крупного помола... Мировая буржуазия и от такого зачихает. Заводной, гневливый, разрывчатый — вези ей на понюшку.

Как там дальше было, не скажу, а только не доехал Федя до океану. Время вихревое шло, людей, что крупинки в кипятке разметывало — на большой скорости жизнь громыхала. И очутился Федя заместо Тихого в тайге партизанской. Так уж ему путь пролег.

По своей должности связного приходилось ему, и нередenько, в другие отряды выезжать. Где ни появится,

уж без того не уедет, чтобы табакерку с порохом не показать. Наслышан народ был, какой он «табачок» в ней таскает, ну и любопытствовали: кто на ладони рассмотрит, кто нюхать примется, а кто и на зуб пробует.

Был у нас в отряде старикашка один, Мокеич, вроде лекаря значился. Кровь останавливал, корешками, травами пользовал и, между прочим, ловко диких пчел выискивал. Идет, бывало, из тайги, всякой этой зеленой муравой обвесится и туесок-другой меду тащит. Да не пофартило ему в ту осень: напали на него шершни да так отделали, что он до рождества пухлый ходил и глазами скудаться стал. И вот увидел он один раз у Феди этот порох, сослепу-то смекнул:

— Отдели мне, сынок, щепоточку! Я по весне грядку-другую вскопаю да посажу...

— Чего посадишь, дедко?

— Да батуну этого самого. Он, знаешь, от цинги как пользует... Я бы и зимой его ростил в ящиках, да беда, семян нет.

Запохохатывали. Он сослепу-то порох за луковые семена принял.

— Нет, дедко...— говорит Федя.— Не выйдет у тебя... Грядки маловаты будут. Из этих семян такой батун вырастет — в мировом масштабе. Глаза защиплет. Порох это, дедко, с крейсера «Авроры».

Старичонка услыхал такое — вовсе привязался.

— Дай, сынок, хоть полнаперсточка, хоть пять зернышков!

— Да к чему они тебе?

— На лекарство, сынок. Выпьешь ты, скажем, у меня коренька настой, поглядишь на эти зернышки,— истинн бог, сразу здоровше станешь!.. На мою догадку, не простой это порох... Ляксандра-то Федоровича Керенского в одночасье на акушерку переделало. Всех мужеских статей лишился... А что Ляксандру неладно, нам в аккурат.

Матвейко Бурчев забеспокоился:

— То ись, как в аккурат? Стало быть, и мы в девках ходи. Наговоришь, курииая слепота!..

— Вот, выходит, что глупый ты есть, Матвейка, хоть и по иозди обволосател... Для пролетарьяту в этом порохе совсем другой дух уиюхивается.

— Какой же бы это дух?

— А такой дух, что вставай, проклятьем заклеймеииый. Вот какой дух!

— Тебя послушать, дак хоть сейчас в комиссары ставь! А иад лекарством шептуиа пущаешь отчеиашева... Суеверец...

— Да ведь ие всем же, Матвеюшко, как ты — в задор за волчьим зубом! Я тебя иад лекарством отчитаю шепотком, и пей со Христом. Тебе пользительио, и мие приятио...

Федя хохочет. Погляиулся ему Мокеич.

— Держи,— говорит,— дедко, пороху! Во-первых, за то, что ты идейиый, а во-вторых, мыслишку мие одиу подкииул. Лечи революциоииых бойцов!

Отсыпал ему толику, сам к комаидиру подался. Ему, видишь, в город частеиько приходилось пробираться... На связь с левобережиыми партизаиами выходил. А связь эту мы держали черед одиого старикашку. Тот иа базаре с морской свиикой промышлял... Подашь старикашке деиьги, ои мыркиет ей что-то, свиика и сдействует. Бумажку из ящика зубками выдериет, и, пожалуйста, читай свою судьбу иа предбудущее время. Бойко дело шло!.. Царские полковиики и те, случалось, гадали. На союзииков иадежи мало осталось, дак иа свиику уповали: ие вытяиет ли, мол, морская иасекомая чего-иибудь такого... этакого... иасчет дореволюциоииой колбаски и плакучего сыру.

Только свиика политикой не заиималась, все больше сердечиые дела улаживала.

Под этим видом Федя и встречался со стариком. Тут уже свиика ие судьбой заведовала, а сведеиия о против-

нике, указанья всякие и даже боевые приказы передавала. Ловко подстроено было, однако риск... Оценили, видишь, Федину голову, а другому кому старикашка не передаст: в лицо не знает. Так что опять Феде идти.

Вот он и смекнул.

— Товарищ,— говорит,— командир! Ты, поди-ка, слыхал, как Керенский из Гатчины ушел?

— Ну, дак что?

— В бабское во все переоделся, в сестру милосердную...

— Ну, дак что?

— А то — нельзя ли мне девицей какой принарядиться?.. Насчет женихов у свинки выведать...

Командир оглядел Федю и говорит:

— Оно бы лады, было да корпусность у тебя больно глистоватая. Длинный, тонкий, завостренный со всех концов... Шкет, словом.

— Корпус подладить можно! Туда ваты, сюда ваты, в длину убавлюсь, где вострый, округлюсь.

Глядит командир на Федю:

— Ежели тебя натурально до бабской плепорции довести — это сколько же ваты придется потратить? А с ранеными тогда как? Тереби вон конские потники и округляйся, да тряпье какое-нибудь еще...

Через неделю такую мещаночку мы из Шкета сделали, кругом шестнадцать.

Он, Федя-то, и так невозмужалый еще... Где усам, бороде быть — у него пушок, легонький такой, к коже ластится. Глаза, что два родничка, ясной-ясной синью налитаны. Нос, как у синички — аккуратненький. Чуб только лихой. Закуржавеет на морозе — ровно из серебра выкован. Какой завиток отяжелеет, свесится — ямочку на щеке достает. Ну, да чуба под полушалками не видно! Исправим, значит, ему фигуру, юбок насдеваем, чесанки с калошами, шаль с кистями — такая кралечка выйдет — все отдай, мало!

Дедко Мокеич тут же крутится, редeнькую бороденку бодрит да присоветывает:

— Ты, дочка, кокетом, кокетом ходи, а губки узюмом сложь...

— Как это «кокетом?»

— Позвонки, стало быть, распусти и вензелями значит, корпус, вензелями... Форцу давай!..

Матвейка Бурчеев деда на подковыр:

— Ты, лекарь, чем языком-то вензелявить, взял бы да показал. А то «кокетом», «узюмом»! Ты покажи... Федька урок возьмет, и мы поглядим.

— И покажу! Тебе-то, правда, верблюду сутулому, так не ходить, а Феде... тьфу, не путай ты меня! Какой он теперь Федя? Натуральная Федора! Так вот, Федоре, говорю, заместо Христова янчка сгодится. Учись вот, дочка... Перьво-наперьво, лицо строгое сделай и шепотом скажи слово «узюм». Сказала и окочеией, замри! Как губы сложатся, так и заклей их на той точке-линии. А при походке нижние позвонки в изгиб, в изгиб пущай, да покруче! Гляди-ко, вот.

Мокеич сложил пельмешком губы и завосьмерил. Так то есть завихлял портками, аж мослы под холстиной обозначило. Сам приговаривает:

— Вензелями... Вензелями... Задорь... Задорь...

Не успели прохохотаться, Матвейко ввернул:

— «Кокет» у тебя что надо получился, а вот «узюм» синеватый вышел... На куричью гузку больше смахивает.

На этот раз Мокеич заплевался.

— Гаденыша бы тебе под язык склизкого!

Одним словом, отправили мы Федю в город.

Раз сходил, и в другой, и в третий...

А с четвертого не вернулся. И вот как случилось.

Поглянулась наша «Федора» есаулу казачьему... Сластена, видать, был есаулишко насчет мещаночек. Ну, и ухлестнул. Федя только что от старикашки, ему в отряд

позарез срочно надо, а есаул его в ресторан тянет. Орешками угощает, мамзелью навеличивает, локоток жмет... Федя глазками поигрывает, отнекивается:

— Мамаша хворая — грех по ресторанам ходить. Да и живу я далеко. На самом краю города.

А у самого думка:

«Не отстанет — заведу куда поглуше и кокну».

Есаул смотрит, что девка не дичится,— смелей стал настырничать. Под ручку Федю устроил, прижимает, в личико заглядывает. Усы, как у хорька, подрагивают. Ну и дело, видно, привычное... Прижал Федю к одной калиточке и целоваться лезет. Изловчился тут Федя да как сунет с тычка в целовальню — только схлюпало! Сидит есаул в сугробе и соображает:

«Кто ж это меня так-то?.. Девка эта или ломовой?»

Опомнился, зуб выплюнул да за Федей!

— Не утекешь,— кричит.— Уж я тебя сегодня полюблю!.. Как хочу — поголублю!

В другом разе Федя от него играючи ушел бы, а тут юбки не дают: на подхвате держишь — штаны видно, опустишь — ногами заступаешь, падаешь. А есаул рассстервился, шашку выхватил и орет на полном галопе:

— Зарублю! Соцыалистка!!!

Тут, откуда ни возьмись, капитан один вывернулся:

— Это что за баталии, есаул?! Девиц в истерики вгоняете? А ну марш к лошадям!

А сам Федю под ручку:

— Успокойтесь, мамзель. Эти казаки никакого обращенья не понимают. Очень просто изобидеть могут... Дозвольте, мамзель, я вам порыцарничаю, оберегу вас?..

«Ну,— думает Федя,— назвался груздем... Другой раз монашиной оденусь».

А капитан все крепче да крепче Федину руку прижимает. Квартала полтора эдаким манером прошли, нагоняют их два солдата. Поравнялись когда, капитан вторую руку Феди зажал и командует:

— Обезоруживай его!

Из-за пазухи наган вынули, под юбками табакерку нашарили...

Капитан усмехается:

— Давайте знакомиться, мамзель Шкет. Начальник контрразведки «дикой» дивизии атамана Калмыкова! Честь имею!.. Давненько ожидал с вами свиданьица... Хотел еще на базаре вам представиться, да есаулишко мешался. Думал, не из ваших ли переряженный... А когда к калиточке он вас притиснул — вижу, наш орел!.. Ну-с, пойдемте... погостите у меня. Тоскливо не будет! Там старикашечку своего встретите и свинюшечку...

Услыхали мы про все это дело — мороз по коже продрал. Уж что-что, а калмыковская контрразведка нам известна была. Людоеды, изверги да кровяные алкоголики туда шли. Пальцы на мясорубках провертывали, мороженными щуками глаза выдавливали, пороховые дорожки на животах жгли.

«Ах, Федя, Федя,— думаем,— длинной тебе жизнь покажется. Кому, кому, а тебе они все свое ремесло-искусство покажут».

Дедко Мокеич не в себе ходит. Еды лишился, сна. Остальным тоже в глаза друг дружке неловко посмотреть.

Один Матвейка зудит:

— Лекарь, он научит!.. Парня, наоборот, надо было страмией да позамурзанистей выпускать, а он: «кокет», «узюм»! Это тебя вот обрядить, сверчка старого, надо было! На твои «вензеля» ни один калмыковец не обзарился бы.

Мокеич молчанкой все отходил. Виноват, мол... А один раз не стерпел:

— А что ты думал? И пойду. У меня и по мещанству, и по купечеству знакомо... Кому пиявиц подпускал, кому пупок правил... благодетелем звали, за сорок верст

на рысаках приезжали. Найду, небось, следочки-то! И про Федю разузнаю!..

С тем и пристал к командиру: «Отпусти, мол, в город».

Тот и сам соображал насчет Феди. Да и старикашку что бы ни стоило выручать надо. Вся наша связь у него в голове была. Ну а теперь порушилась, выходит. Поговорил командир об этом с Мокеичем — пошел дедко.

Дня через четыре является.

— Не горюй,— говорит,— ребята! Федя наш жив, здоров и немученый пока.

Интересуемся, как дознался.

— Купца первой гильдии Луку Естафьевича Громова пользовать пришлось. Через него и верный слух имею.

— Ну, дак рассказывай! Не тяни душу...

— Заболел капитан разведки... Английскую хворь подхватил... По-мудреному как-то называется... Не то «блин», не то «павлин», одним словом, тоска зеленая. Свет не мил делается! А все через табакерку! Она его подгуляла.

— Как так?

— А так! Вызвал он, стало быть, Федю на допрос, в руках табакерку вертит: «Это что за припас? — спрашивает.— С какой целью таскаешь?»

А Федя ему на всю чистоту:

«Это,— говорит,— порох со всему миру известного крейсера «Авроры». А цель его тоже известная: врагов революции под корень испепелять!»

— Дак ты, значит, и меня бы испепелил?

— Как щенка подковать!..

Знает парень, что пощады ему не ждать, ну и отпускает без утайки.

— А знаешь ли ты, воробушек, в каком месте чирикаешь?! Да я тебя, зародыша, по жилочке размотаю! Ребра в обратную сторону заверну!

— Ну, дак что? — Федя говорит.— Верх-то все равно наш будет. Из моих жил тебе же петлю и сплетут!

Тут капитан и задумался. Молчит да порох нюхает. Ну и нанюхался до тоски.

— Уведите,— говорит,— его. Я что-то не восвояси. Потом при добром здоровье я ему вспомню.

И слег. Лука Естафьевич Громов в первых дружках у него ходил. Прослышал он про такую оказию, дюжины две всяких шампанских прихватил и к нему:

— Что же это вы, отцы, охранители-спасители наши, занедужить изволили? А-я-яиньки! Да такое ли теперь время, чтобы хворатиньки лежать?! Испейте-ка вот... Я тут шесть сортов смесил, седьмая — ханжа. Часом дыбки встанете! «Кровь гвардейску размусорит, сукy-скуку разобьет!» — так ведь певать изволили? Дербурезните, ангел мой. Берите меня за пример: мы ее вон как! У-ухх!.. до суха донушка! С поцелуйчиком!

Ворковал, ворковал вкруг него — иет толку. Лежит молчит... На стол только указывает, на табакерку. Лука Естафьевич свинтил крышечку, унюхнул, и тем же моментом его на балкоичик выбросило. Сперва кровяными колбасами тошнило, потом фунта полтора осетринной икры вывернуло, а после кулебяки, грузди и прочее разнотравье полезло.

Чуть тепленького домой привезли. Уложили в постелю, а он признак жизни терять стал. Домашние за батюшкой послали. Тот приходит, а Лука Естафьевич опять в чувствие вернулся: ему, видишь, с другого конца отомкнуло. Батюшка поглядел, послушал и вещает:

— Рано аз, иерей, грядеши. С таким пищетрактом он до судного дня проживет...

К тому времю и я погодился. Два каких-то маифеста сжег, полкрынки пепла навел, дал ему — русло-то и перекрыло. К вечеру мы с ним уже по рюмочке приняли.

Тут он мне и перешепнул все это, скрадом от домашних. Он, видишь, подозревает, что ему от коньяков с ханжой худо сделалось, а иа мою догадку — от пороха это,

Матвейка, порешивший, обратно в спор:

— Ох, и мастак же ты, лекарь, раскасторивать! Порох опять приплел? Порох — он порох и есть. Правильно купец думает... Хватанул смеси, а желудок и обробел.

— Это у тебя, тощалого, от рюмки обробеет, а у Луки Естафьевича чрева бывалые. Он сибирское купецтво не уронит. По дюжине шампанских выпивал и цыгана переплясывал. Капитан-то, на твой ум, отчего заболел?

— Ну, дак поспешай давай! Одного классового паразита отходил, беги и этого лечи! А что у партизана чирь сел, вторую неделю шею на манер волка ношу,— это тебе начихать? Под трибунал таких лекарей! И — к райскому яблочку...

Сцепились мужики — хоть пожарную кишку выволакивай! Пришлось командиру «разойтись!» гаркнуть.

К этой поре согласились мы, значит, всеми отрядами на калмыковцев навалиться. С левобережными тоже связались. Ждем приказа. Мокеич опять в город отбыл. Там под суматоху подпольщики совместно с нашими засыльными арестованных должны были вызволить, а его отправили кое-кому «пупки править». Для разведки, значит, и связи... Капитана этого, контрразведчика, зачем-то в колчаковскую ставку вызвали — самое подходящее время.

Ладное тогда дело получилось: и калмыковцам вложили, и товарищей взяли, и боезапасу добыли. Федю каждая землянка в гости зазывает. Не чаяли в живых видеть, а он опять зубы наголе ходит.

Мокеич на радостях загулял. Такого звонкого песняка выдает, аж кони вздрагивают. Увидел Матвейку — останавливает:

— Ты вот с малого ума Федин порох браковал... Эх, голова, два ушинька... Да от него сам Колчак округовел. Дал ему контрразведка понюхать из табакерки — и он сшалел. «Царской» водки требовать начал. Его отговаривают:

— Ваше, мол, верховиое величество! Опомиитесь! Ее по глупости «царской» иазывали. Ее ии в Европе, ни в Азии, ни даже в чериой Арапие ни одии государь ие пивал. Кислота это. Ей по металлу травят. А ежели, упаси Христос, виутре принять — до слепого отростеля в уголь все сожгет!

Растолковывают ему со всеусердием, а ои свое:

— Подать царской!!!

Попугай иа жердочке сидит и тоже орет:

— Подать царской!!!

Колчак изобиделся, поймал попугая, головку скусил, рвет перо да приговаривает:

— Самозваиец, самозваиец, самозваиец!

Челядь смотрит, вовсе иеладио дело! За архиереем послали: «Что делать, мол?!» Тот присоветовал в Иртыше либо в Оми его искупать. «Устройте ему Иордань, авось остыиет».

Загляиул в дверь в щелочку — верховиый попугаевыми лапками играет и вся улыбка в пуху.

«Ну,— думает архиерей,— до «амиия» доходим. Скоро и иам так же. Главы скрутят, а руци бросят. К тому дело. Зачем ие зришь, господи!»

И тоже затосковал:

— Говорил я вам, ие прост этот порох! Который уж случай ои себя оказывает...

Матвейка и тут Мокеичу напоперек:

— Тебе, видио, почтовую сороку из Омска прислали, а иа хвосте у ией обо всем этом отрапортоваио.

— Да, чудо ты человек! Послушай, что в других отрядах рассказывают.

— А в других отрядах Мокеичев, что ли, иету своих? Натяиутся хаижи, вроде тебя, и плетут! Нет приберечь, раиетому какому, слабому перед аппетитом подать, дак вы сами... Лекаря!!!

Такой уж человек Матвейка был. Ничему веры ие давал!

А про табакерку верно слухи шли. Японец, сказывают, понюхал — харакирю себе сделал. Американцу, тому на язык будто бы сдействовало, заикаться стал. Быль с небылью теперь разбирай... Считай — в сказку ушла Федина табакерка.

Ну, дальше у нас на Востоке все шло, как по песне: разгромили атаманов, разогнали воевод... Которых — в океан спихнули, которых — за океан вытряхнули, а Калмыков со своими всеми недобитками в Китай удрал. Наше партизанское дело, коль со всеми пошабашили, тоже известное. Каждый в свою сторону да по домам. Строй новую жизнь, за какую бился!

Много уж годов прошло, вон какую войну избыли, новых героев народ вырастил, а про нас не забывают. Получаю я как-то письмо. Приглашают нас на встречу с комсомольцами. Десятка три нас собралось и среди прочих нашего отряда бойцы, Матвейка, Мокеич и Федя. Объятьев было, радости!.. Больше всего, однако, дивимся, что Мокеич наш — орлом! Ведь около сотни ему!

Матвейка спрашивает:

— Ты, народная медицина, чем себе жизнь продляешь?

Ну, Мокеичу-то за словом не в карман лезть!..

— Я,— говорит,— таежиным духом дышу, пчел веду, мед ем, персональную пенсию получаю да шептуна пущаю «отченашева!»

Это уже в подзудку!.. Ну, Матвейка тоже, значит, на пенсии, а Федя отцову дорожку выбрал. Дошел до океана и там флоту служит.

Сидим в президиуме — седина да плешь, плешь да седина... Через одного... А вокруг нас — молодо, звонко, озорно! Хорошие слова говорили... Старой гвардией нас называли. Таежными орлами... Мокеич грудь пружинит, а на усах слезины. Я тоже, хоть и неловко в президиуме, а две понюшки вынудился протянуть. На хорошее слово слеза отзывчива. Да и годы наши!!.

Мокеич слово сказал. Наказывал молодым, что отцами, дедами завоевано — беречь да хранить. Не на орла, мол, или решку выпало счастье ваше, а великой народной кровью завоеваио. Федю в пример ставил.

После встречи с молодыми собрались мы в гостиниңе, опять же свою встречу отпраздновали. Тут Федя иам и рассказал о дальиейшей судьбе своей табакерки. А исторня с ией такая была.

Годов поди с десяток с тех пор прошло, как Калмыков со своим воинством в Китай убрался. Попроелись ихние благородья, пообтрепались, которые репкой торговать стали, а капитаи из разведки к барахолке приохотился. Перебирал он как-то пожитки свои, заваль всякую, и попалась ему на глаза Федина табакерка.

«Стоп! — думает.— За эту штучку, если иа охотника напасть, большие деньги взять можно. Порох с «Авроры». Да ведь во всем белогвардейском буржуйском мире у одного меия такая редкость! С кем же бы это сделку сотворить?»

Думал-думал — дошел: «Надо на портовый базар податься. Там разиых наций луиатики бывают. Американцы особо... Охочи до всяких памяток. Вон гвардии подполковиик Заусайлов зубами Гришки Распутина торгует — озолотился! Вторую уж сотню продает. Сам, говорит, иавышибал. Пешней. Когда тело под лед спускали».

Ну и иа базар.

В это время как раз случилось стоять в китайском порту одному нашему кораблю. И служил на этом корабле ие кто другой, а сам наш Федя. Уволился он на берег: «Куплю, мол, сынку игрушку какую. Дракоичика там или болванчика... Китайцы — мастера насчет игрушек».

Ходит Федя по базару, и вдруг слышится ему слово: «Аврора!»

Ои — на это слово.

Смотрит, стоят кружком матросы. Из-под всех флагов иарод. А в середке у иих белячок с табакеркой кру-

тится. Клянется, божится, что порох действительно с «Авроры». Только матросы не верят. Покачивают головами да смеются. Они-то смеются, а два каких-то хлюста, с сигарами в зубах, всурьез табакеркой интересуются. Федя поближе. Смотрит — табакерка-то его! На порох глянул — порох тот самый, «аврориннский»! И «продавца» узнал.

— Откуда он у тебя взялся? — по-русски спрашивает.

Тот гад прямо ему в глаза:

— Парнишко один мне в гражданскую подарил. Помнится, Федей звали.

Феде, слышь, и дых перехватило:

— Вон что... Ну, и продаешь, значит?

— Да вот, на охотинка...

— А во сколько ценишь?

Тот и загнул. У Феди и сотой части тех денег нет, а беляк между тем цену набивает:

— Джельтмены вот,— говорит,— дают половину запроса. Дак это что... Задарма отдать!..

Чувствует Федя, как ему опять партизанская отчаянность в сердце вступает: «Сейчас,— думает,— не стерплю... Не стерплю — садану в ухо!..» Однако опомнился: «Неудобно в чужой державе». Скорготнул зубами: «Надо что-то делать,— думает.— Побегу на корабль. Объясню братишкам, капитану. Не я буду, если этот порох в поганых руках на расторговлю оставлю!»

Матросы видят — не в себе русская морская служба.

— В чем дело, комрад? — спрашивают.

— А в том дело, комрады, что правильно эта потаскуха говорит. Порох-то действительно с «Авроры»!

Ну, и рассказал им накоротке.

— Попридержите,— говорит,— его. Побегу на корабль.

И заспешил.

Только успел с базара выбраться — нагоняет его юнга один.

— Воротись,— говорит,— комрад! Матросы зовут.

Воротился. «Что там такое?» — думает.

Смотрит: носит старый боцман фуражку по кругу, а матросы деньги в нее бросают. И английские, и турецкие, и испанские — всех монетных дворов чеканка в картуз летит. Слышит Федя, что и медь там же звенит, в фуражке. Вынул он свою получку и туда же ее.

«Прости, сынок,— думает.— Дракончика я тебе не сейчас... В другой раз куплю. Ты понимай, сынок! Тут пролетарии соединяются! А дракончика мы завсегда...»

Выкупили матросы табакерку — подают Феде.

— Держи, комрад, свой порох!

А его слеза душит.

— Спасибо,— говорит,— товарищи! У кого гроб господень, а у пролетарьята своя святыня. Ее при верных руках сберегать надо. Держите-ка!

С тем по щепотке да по зернышку и роздал порох. Табакерку боцману вручил. И поплыл тот порох по морям и океанам во все концы земли. Под всеми флагами!

Вот тебе и следочки — табакерку искать. А впрочем, может, сама объявится. Мокеич-то не без загаду особый режим жизни себе установил:

— Я, брат, другой раз нарочно пчел сержу. Нажалят они меня — сердце-то бодрей токает. Жду, где еще Федина посудинка голос подаст, кто еще зачихает. Он ведь как говорил? «Эти семена, дедко, громом всхожие! В них «Вставай, проклятьем заклейменный» унюхивается».

Матвейка по обычаю уточнит:

— Ну последнее-то ты сам говорил. Твои слова!

— Ну дак что? — встрепенется партизанский наш долгожитель.— Разве подтвердить некому? У меня, брат, в свидетелях и цари, и короли, и султаны, и фюреры, и римские папы — видал, какой народ! Спроси у них: «Чем пахнет порох с «Авроры»? И рад бы соврать, да не дадут.

1962 г.



*

БОГИНЯ В ШИНЕЛИ

Дедушка Михайла — любитель книжку послушать. Сейчас, правда, глуховат стал, а все равно приспосабливается. Ладошкой ухо нарастит, клок седины между пальцами пропустит и вникает. Слушатель — лучше бы не надо, кабы не слеза. Совсем ослабел он с этим делом. Внучата уж следят: как задрожал у деда наушник, ладошка значит, которая уху помогает, так привал — жди, пока дед прочувствуется. «Тараса Бульбу» местах в четырех обслезил, а от рассказика «Лев и собачка» зарыдал даже.

— Вот ведь,— говорит,— любовь какая была.,. Невытерпно!

Дед от всей души слезу выдает, а внучикам то — в потешку. Нарочно пожалобней истории выбирают. Знают

примерно, на котором месте дедушку затревожит — дрожи в голос подпустят и разделывают:

— Б-а-атько! Где ты? Слы-ы-шишь ли ты?

Ну, и сразят деда.

Валерка — тоже ему внучек будет, недавно из армии вернулся,— поглядел, значит, на эти ихние проказы и разжаловал грамотеев. Сам стал читать. Про Васю Теркина, про Швейка — бравого солдата... Это еще куда ни шло. Терпимо деду. Всхлипнет местами, а до большого реву дело не доходит. Другой раз даже критику наведет:

— У людей — все как у людей... Кто этот Теркин? Смоленский рожок! Миром блоху давили, а гляди, как восславлен! А Швейка? Щенятами торговал! Кузьма Крючков, опять же, одно время на славе гремел... А про наших, сибирских, и не слышно.

Валерка, в спор не в спор, а не согласился с дедом:

— Это знаешь почему, дедушка?

— Почему бы? Ну-ка...

— Слышно и про наших, да вот дело какое... Мы здесь как бы посреди державы живем. До нас любому мазурику далеко вытягиваться. Позвонки порвет. Однако какой бы краешек русской земли ни пошевелил враг, где бы ни посунулся — с сибиряком встречи не миновать. И приветит и отпотчует! Там-то вот, на этих краешках земли, и оставляют сибирские воинские люди о себе памятки...

И вот какую историю рассказал.

Во время войны организовали фашисты на одной торфяной разработке лагерь наших военнопленных. Болото громадное было. Издавна там торф резали. Электростанция стояла тут же, да только перед отходом подпортили ее наши. Котлы там, колосники понарушили, трубу уронили. А станция нужная была: верстах в двадцати от нее город стоял — она ему ток давала. Ну, немцы и стараются. Откуда-то новые котлы представили, инженеров — заработала станция. Теперь топливо надо, торф. По этой вот причине и построили они тут лагерь.

Поднимут пленных чуть свет, бурдичкой покормят и на болото на целый день. Кого около прессов поставят, кто торфяной кирпич переворачивает, кто в скирды его складывает, вагонетки грузит — до вечера не разогнешься.

Вернутся ребята в лагерь — спинушки гудят, стриженая голова до полена рада добраться. Да от веселого бога, знать, ведет свое племя русский солдат. Чего не отдаст он за добрую усмешку.

— Эй, дневальный! Немецкое веселье начнется — разбуди.

А те подопьют, разнежутся, таково-то жалобно выпевать примутся, будто из турецкой неволи вызволения просят. Каждый божий вечер собак дразнят. Мотив у песен разный, а все «Лазарем» приправлен. Вот пленная братия и ублажает душеньку:

— Это они об сосисках затосковали.

— Спаси-и, го-с-споди, лю-ю-ю-ди твоя-а-а!...

— Эх, убогие!.. С такими песнями Россию покорять?..

Немецкая та команда из Франции перебазировалась. Там, сказывали, веселей им служилось. Вина много да все виноградное, сортовое. Сласть! Узюминка! До отъезда бы такая разлюли-малинушка цвела, кабы один француз не подгадил. Добрый человек, видно, погодился. Подсудобил он им плетеночку отравленного — двоих в поминалье записали, а пятерым поводыря приставили. Ослепли. После этого остерегаться стали, да и приказ вышел: сперва вино у докторов проверь, а потом уж употреби. А доктора «непьющие», видно... Как ни принесут к ним на проверку — все негодное оказывается. То отравленным признают, то молодое, то старое, а то микроба какого-нибудь ядовитого уследят. Ну а сухомятка немцам не глянется. Зароптали. А один из них — Карлушкой его звали — вот чего обмозговал:

«Заведу-ка я себе кота да приучу его выпивать — плевал я тогда на весь «красный крест»! Кот попробует — не сдохнет, стало быть, и я выдюжу».

Ну, и завел мурлыку. Тот спервоначалу и духу вина не терпел. Фыркнет да ходу от блюдечка. Коту ли с его тонким нюхом вино пить? Только Карлуша тоже не прост оказался: раздобыл где-то резиновую клизмочку и исхитрился. Наберет в нее вина, кота спеленает, чтоб когти не распускал, пробку между зубами ему вставит и вливает в глотку. Тот хочешь не хочешь, а проглотит несколько. Месяца через два такого винопивца из кота образовал — самому на удивленье. Чище его алкоголик получился.

Прознали об этом сослуживцы Карлушкины — тоже от медицины откачнулись. Всю добычу к коту на анализ несут, а хозяин гарнцы собирает. С посудинки по стакашку — за день полведерочка! Ай-люли, Франция!

Так они оба с котом и на Россию маршрут взяли, не прочихавшись. До Польши-то им старых запасов хватило, а с Польши начиная на самогонку перешли. Карлушка форменной печатью обзавелся: какой-то умелец из резины кошачью лапку вырезал. Принесут к ним хмельное, кот отпробует и спать. Час-полтора пройдет — жив кот,— значит, порядочек. Карлушка тогда и отобьет на посудинке лапку. Фирменное ручательство: «Пейте смело».

Эдаким вот манером с французским котом под мышкой, с немецким автоматом на животе и припожаловал на нашу землю Карлушка.

С похмелья-то кот шибко нехороший был. Дикошарый сделается, буйный, на стены лезет, посуду громит. В хозяина сколько раз когти впускал. Совсем свою природу забыл: возле него мышь на ниточке таскают, а он ни усом не дрогнет, ни лапой не шевельнет. Опаршивел весь, худющий.

Раз как-то уехал Карлушка в город да чего-то там задержался. Кот ревел-ревел ночь-то, похмелки, видно, просил, а к утру околел. Ох, и пожалковал владелец над упокойником! Шутка ли, такой барышной животинки лишиться. А тут как раз слух прошел нехороший: в город-

ском лазарете будто бы двум чистокровным германцам железные горла вставить пришлось. Опрокинули они по стакашке где-то, а в напитке — мыльный камень подмешан оказался. Ну, и сожгли инструменты-то! В отечество приехали и «Хайль Гитлер» нечем скричать. Карлушка по этому соображению тут же моментом опять кота расстарался. Этот у него убежал. Котеночка принес — бедняжка от первого причастия дух испустил. Что ты тут будешь делать? И выпить хочется, и питье есть, и закусь всякая, и боязно — как бы потом каску на крест не напялили. Не раз французский Шарля — кота так звали — вспомянут был. При покойнике с утра раннего Карлушка всяким разнопьяньем нос свой холил.

Пьяненький-то немец добрый становился: закуривать дает пленным, про семьи начнет расспрашивать. Со стороны поглядеть — дядя племянничков встретил. Оно и по годам подходяще. Лет пятьдесят ему, наверно, было. Роста коротенького, толстый, шею с головой не разметишь — сравняло жиром. Усишки врастреп, чахленькие, ушки, что два пельмешка свернулись, зато уж рот-государь — напримету. Улыбнется — меряй четвертью. Он у коменданта лагеря как бы две должности спаривал: сводня, значит, и виночерпий. От родителя, вильгельмовского генерала, по наследству перешел. Тоже военная косточка. Да... Ну, и вот заскучали они без Шарли-то. Одно развлечение осталось — картишки да губные гармошки. А Карл и этой утехи лишен. По его снасти ему не в губную, а в трехрядку дуть надо. Злой сделался, железную трость завел, направо-налево карцер отпускает.

Жил в лагере журавленок — пленные на болоте поймали. Славный журка, забава. Идут, бывало, ребята с работы — он уж ждет стоит. Знает, что его сейчас лягушатникой угостят, подкурлыкивает по возможности. Вот Карлушка с безделья и примыслил:

— Вы не так кормите ваш шурафель...

— Почему не так?

— О... Я завтра покажу, как нушна кормить эта птичка. Несите свежи живой квакушка.

По-русски он знал мало-мало.

Ну, ребята на другой день и расстарались лягушками. На болоте-то их тьма.

Карлушка прямо на подходе колонны спрашивает:

— Принесли квакушка?

— Так точно!

— Карош.

Поймал он журавленка, под крыльями его бечевкой обвязал, кончик сунул себе в зубы. За лягушку принялся. Этой хомутной иголкой губу проколол, дратвину протянул, узелочек завязал — и готово. Подает концы пленным.

— Игру,— говорит,— сейчас делаем.

Правило такое постановил: один должен лягушку за дратвину перед носом у журавля тянуть, а другой за бечевку держаться и на кукорках за журавлиным ходом поспевать. Скомандовал первый забег. Журавленок на весь галоп летит — до лягушки добраться бы, бечевка внатяжку, а провожатый поспевает-поспевает за ним да на каком-нибудь разворотчике — хлесть набок. Карлушке смешно, конечно... Ему в улыбку хоть конверты спускай. А пленным тошно. Жалко курлышку, а пришлось отвернуть ему головенку.

На другой день снова является Карлушка бега устраивать.

— Где шурафель? — спрашивает.

— Съели,— отвечает.— Сварили.

Сбрезгливил он рожицу:

— И-ых... И как у вас язик повернуль! Такой весели вольни птичка!

Через неделю-другую забаву нашел.

Переписал, стало быть, в тетрадку все русские имена и решил вывести, сколько процентов в нашей армии Иваны составляют, сколько Васильи, Федоры и прочие поименования. На вечерней проверке выкликает:

— Ифаны! Три шака перет!

Сосчитал, отметил в тетрадке, в сторону Иванов отвел.

— Крикорий! Три шака перет!

Григорьев пересчитал.

— Николяй! Три шака перет!

Вечеров шесть прошло, пока обе смены обследовал. Осталось человек двенадцать с именами, которые в Карлушкином помнильнике не обозначены. Этих персонально переписал. Тут и Калины нашлись, и Евстратии, а один Мамонтом назвался. Стоит этот Мамонт головы на полторы других повыше, в грудях этак ширины с царь-колокол детинушка, рыжий-прерыжий и конопатый, как тетерино яичко. Карлушка перед ним вовсе шкалик.

— Што есть имья такой — Мамонт?

Тот парень от всего добродушья объясняет:

— Зверь такой водился до нашей с вами эры. Мохнатый, с клыками, на слона похожий. У нас в Сибири и доселе ихние туши находят.

Голос у парня тугой, просторный такой басина. Говорит вроде спокойненько, а земля гул дает. Сам глазами улыбается чуть. Голубые они, доброты в них не вычерпать.

— Кто тебя так ушасна называль?

— Батюшка так окрестил. Поп.

— Разве у батюшка-поп другой имья не быль?

— Как не быть поди? Было. Да у моего дедушки на этот случай мало денег погодилось. Не сошлись они с попом ценой, вот он и говорит деду: «За твою скаредность нареку твоего внука зверииым именем. Будет он Мамонт».

— Ай-я-яй! — Карлушка соболезнует.— Весь карьера наизмарку... А как твой фамилий?

— Фамилия-то ничего. Котов — фамилия.

— Как, Котофф?

— Да так. По родителям уж.

— Карош фамилий. А зачем, Котофф, плен попадался?

— Пушкн жалко было. Такая уважнтельная «сорокопяточка» — хоть соболю в глаз стреляй. Вот, значит, я ее н нес. С ней ведь бегом ие побежишь. Ну, ваши мне и сыграли «хэнде хох».

— Оха-ха-ха-ха...— закатнлся Карлушка.— Это наши репят ловкн: «рука верх» нкрать.

А Мамонт все про пушку:

— Она на прямой наводке в иожевой штык могла попасть, в самое лезвие. Жалко же бросать. Бывало, наведу ее...

На этом месте кто-то его под ребро толкнул: «Нашел, мол, где вспомннать. Простота...»

Мамонту такой намек не понравнлся. Давай обидчнка разыскнвать. А Карлушке с вахты какое-то прнказанне как раз передают. Подсеменнл он к Мамонту — бац его кулачком в ребровниу — ровио порожняя бочка сбухала.

— Пасмотрю, как ты пушка таскаль. Идьем за мной!

И повел его на квартнру к коменданту лагеря. Тому в это время статую мраморную на грузовнке прнвезлн. Верст пять не доезжая города, какне-то хоромнны разбомбленные стояли — пленные там кнрпнчн долбнлн нз развалнн. Прнстройку к станции делать задумали инженеры.

До подвалов когда добрались, а там статуй этих захоронено — ряды стоят. Вот комендант н облюбовал себе. Богиня какая-то. Сиднт она на камушке, одежонки на ней — ни ленточкн. Только искупалась, видно. Волосы длнннные, аж по камню струятся. С лнца задумчнвая, губы капельку улыбкой тронуты, голова набочок прнклонена, и вся-то она красотой излучается. Мамонт даже чуток остолбенел. Такая теплынь, такая тревожная радость ему в грудь ударила — смотрнт, глаз не оторвет. Забылся парень. Карлушка поелознл губнщамн и говорнт:

— Пушка таскаль? Ну-ка полюбн эта девочка иемиошка. В комнату ставлять надо. Перн!

Обхватил ее Мамонт, приподнял и... понес! Карлушка поперед его бежит, двери распахнвает да окает:

— О-о-о! Здорови, черт Мамонт! Восемь человек сняля-наснлю погружали.

А Мамонт ее так обнял — только каменной и выдюжить.

Пудов поди восемнадцать мрамор-то тянул. Тяжело. Сердце встрепыхнулось, во всю силу бухает. И слышит вдруг Мамонт, вот вьяве слышит, как у богини тоже сердечко заударялось. Бывает такая обманка. Кто испытать хочет — возьми двухпудовку-гирю, а лучше четырех, прижми ее к груди в обхват и поднимайся по лестнице. И в гире сердце объявится. Мамонту это, конечно, впервинку. Приостановился: бьется сердечко, и мрамор под руками теплеет.

— Фот сута поставливай,— указывает Карлушка.

Опустил он тихонечко ее, и в дрожь парня бросило. Ноги дрожат, руки дрожат — не с лагерного, видно, пайка таких девушек обнимать. Комендант платочком пробует, много ли пыли на мраморе, а Карлушка что-то гуркотит-куркотит ему по-немецки и все на Мамонта указывает. Пощурил комендант на него реснички. Потом головой прикинул. «Гут»,— говорит. Дотолковались они о чем-то. В лагерь идут, подпрыгнет Карлушка, стукнет Мамонта ладошкой пониже плеча и приговорит:

— Сильна Мамонт!

Десяток шагов погодя опять хлопнет и опять восхитится:

— Здорова Мамонт!

А тот про богинино сердечко размышляет, дивуется, и сама она из глаз нейдет.

В лагерь зашли. Мамонт к своему бараку было направился, а Карлушка его за рукав:

— Ты другой места жить будешь...

И повел его в пристроечку, где повара обитались.

Командует там:

— Запирай свой трапочка и марш-марш нова места.

Объяснил поварам, куда им переселяться, и с новосельем Мамонта поздравил.

— Тут тебье сама лютча бутет.

Тот по своей бесхитростности соображает:

«Правильно, дескать, покойный политрук говорил, что немец силу уважает. Видал? Отдельную квартерку дали!»

Перенес он сюда свою шинелку серую, подушку на осочке взбитую, одеялко ремковатое — устраивается да припевает на веселый мотив:

Утро вечера мудрей,
Дедка бабки хитрей,
Стар солдатик...,

Только «мудрей-то» на этот раз вечер оказался.

Через полчаса является Карлушка — две бутылки самогону на стол, корзинку с закуской.

— Гулять,— говорит,— Мамонт, будем!

Ну, и наливает ему в солдатскую кружку.

— Пей, Мамонт!

Тот, недолго удивляясь, со всей любезностью:

— А вы, господин ефрейтор?

— Я, каспадин Мамонт, сфой румочка потом выпивайт. Пробовай без церемония.

Баранью лопатку, зеленым лучком присыпанную, из корзинки достает, полголовы сыру, лещей, копченых, хлеб белый...

— Пей, Мамонт!

Окинул тот Карлу своими голубыми глазами, прицелился в жижку и по-веселенькому присловьице подкинул:

— Ну! За всех пленных и нас военных!..

— Так точна,— Карлушка подбодряет.— Кушай.

До плену-то Мамонту два пайка врачи выписывали. Приказ даже по Красной Армии был, чтобы таких богатырей двойной нормой кормили, а в плену ему живот просветило. На кухне, верно, другой раз повара ему и

пособолезнуют — плеснут лишний черпак, а все равно он от голода больше других перетерпевал. Такой комбайн... Ну, и приналегает.

Карлушка ерзает на чурбачке, ждет. Минут только десять прошло, как Мамонт кружку опорожнил, а у него и страх и терпенье израсходовались. Губу на губу не наложит — скользят. «Если его схватит,— про Мамонта думает,— я себе пясточку в глотку суну и опорожнюсь». Застраховался так-то и плеснул на каменку. Сырку нюхнул, лещево перышко пососал и растирает грудь. Растирает и таково усладительно поохивает:

— О-о-ох... О-о-ох! Сердца зарапоталь. Перви рас за тва недель... Ты, Мамонт, не звай меня больше каспадин ефрейтор — Карль Карлич каварн!..

— Храшо, Карь Карчь! Слушассь!

А Карл Карлыч совсем от удовольствия размяк.

— Мамонт! Ты будешь мой кот. Мой чудесни сипирски кот!

Опьянел Мамонт — много ли подтощалому надо. Ничего не понимает. Только ест да ест. Так в новой должности и уснул.

Утром проснулся — голова трещит, во рту ровно козлятки ночевали, и в душе какая-то погань копошится. Попил водицы — не проходит. Оно правильно сказано: с собакой ляжешь — с блохами встанешь. Стал он вчерашнее по возможности припоминать, а Карлушка — уже в двери. Сует ему прямо с ходу бутылку в рот да потораплнвает:

— Пробовай... Пей из горлышка... Серца не ропотает.

— Я, господин ефрейтор, не буду пить.

— Что ты каварниль?

— Не могу пить, говорю.

Тот сверкнул глазками, бутылку в шаровары спустил и командует:

— Идьем на вахта.

На вахте сам «лагерфюрер», комендант, значит, при-

сутствовал. Карлушка что-то буркнул ему, бутылку на столик выставил, снимает с крючка автомат и дырочкой ствола по Мамонтовой груди шарится.

— Я приказаль: пей, руська зволочь!

Комендант лагеря не препятствует ему, вахтенные тоже молчат, а у Карлушки глаза, ровно два скорпионьих брюшка, жальца выметывают, ярятся.

— Ну?.. Я стреляйт!..

И затвором склацал.

Поднял Мамонт бутылку, и с той поры дня не проходило, чтобы он к ней не приложился. Все понесли: и Карлушка-ефрейтор, и унтера, и рядовые конвойники — на бессудье-то всяк генерал. Пей, сибирский кот. Пробуй! Карлушка ему и резиновую кошачью лапку отдал, печатн чтоб ставил. По форме, видишь, все соблюдается. Веселый ходит Карл Карлыч!

— Тн,— говорит он Мамонту,— изнапрасна пугался тагта. Руськи шелюдок коски копыти ковани на мельки мука... ну, как это?..

А Мамонт, дело разнюхавши, остерегаться стал. Без масла пить не начинал. Несешь выпивку — неси и маслица. Проглотит ложку, минут пять-десять переждет, потом уж выпьет. Прослышал от кого-то, что масло как бы ослабляет отраву, ну и пользовался. И немцы ничего... Несли. Окромя даже масла несли. Задабрнвали.

Так вот Мамонт и хлебца насбирывал, и рыбки какой, а то, глядишь, и мяска, и шматок сала раздобрятся преподнесут. Некоторые ребята в лагере от голода пухли. Ноги в проказе, по телу чнрьи, проломы, язвы. Мамонт таких-то и поддерживал едой. Только не всегда ладно обходилось: один спасибо скажет, другой молчком съест, а случалось, что и обратно эти кусочки унести придется.

Паринишка один валялся. Что колоду его разворотило. От голода, от соли лн — это он однн знал. Другой раз нарочно солью опухоли нагоняли. И ложками ее ели, и раствором пили. Глушит потом человек воду, студень на

костях иаращивает. Ну, и отвертится от работы. Себя не щадили. Вот Мамоит ему, этому паринщке, и подиес один раз сверточек еды. Тот его и отспасибовал: губы затряслись, побелел весь и еле словечку выдавил:

— Убери... этот иудии корм... от меия! Сам жри, гад... продаиный... му... мурочка иемецкая....

Раиьше был Мамоит как Мамонт. От других ребят ростом разве только да рыжииой отличался. Ну, силой еще. Не сторониились его. Свой ои был в плеином братстве, заровио муку терпел. А теперь идет по лагерю, а вслед ему «кысу, кысу, мяу» пускают. Поджигают пятки-то. Жизнь не мила парню. Тоска. Стыдобушка. Только и выберется светлой минуточки, когда у комеидаита полы мыть Карлушка заставит. Туда ои с радостью шел. Как к милой иа свидаиье. Растревожила Мамоитово сердце мраморная богиия. Кому вольио — посмейся. А посмеявшись, подумай! Жизнь, оиа, конечио, старый чудотворец. а только здесь чудо иевелико. Посреди крови, грязи, мук и позора, посреди каждодиевиого людского зверства и дикости — оиа! Оиа — как росиое утречко, как белая лебедушка, чистая, нежная, ие от мира сего явлеииая глазам его открылась. Грезится ей что-то иензведаииое, тревожное, радостное. И робеет-то оиа, и стыдится по-молоденькому, и ждет кого-то, ласковая. Губы раскрыты — вот-вот чье-то имя прошепчут. Приди он — и оживут девичьи руки, взметнутся, упадут жаркие иа плечи долгождаиному своему, белой бурей, змейчатой поземкой размечутся волосы, задохиется она счастьем своим иесказаииым, и засверкают, заискрятся на мраморе звездочки живых слез...

Держит Мамонт в руках половую тряпку и подолгу глядит иа свою иемую возлюбленную. Околдовывает его камеиь. Забудет и про плеи, и про свою кошачью должиость. Очиется только, когда Карлушка гаркнет.

А она, богиия эта, даже во сне Мамоиту являться стала. Косит ои будто бы под Ишимом-рекой заливиые

лужки... Косу править начнет, а она из-за какой-нибудь ракитки и покажется. Идет будто прокосами и босой ножкой пахучие рядки разметывает. Цветастый сарафанчик на ней, на белом лбу веночек из незабудок. Красиво — белое с голубым. Подходит она к Мамонту, веточки земляники вздымает в горсточке и говорит:

— Давай я тебе, Мамошка, веснушки выведу. Они ягодного соку страсть как боятся.

И начнет душистыми пальчиками землянику на Мамонтовом носу раздавливать. Щекотно! Чихнет Мамонт, проснется, а это Карлушка опять. Хворостинкой ему по ноздрям водит и баклажку в рот сует.

— Пробовай скорей!.. Серца задохся.

Тут бы и плюнуть ему, и ахнуть бы пятифунтовым кулаком мурзику этому по черепу, объявить бы человека в себе — да нет... не хватает Мамонта на такое. Пьет... Опять угорелые глаза стыдно поднять. В землю бесчестье свое проморгивает. Переступил парень заповедь товарищества и ослабел духом. Сказано там: умри, а подличать перед врагом не моги. Сказано там: два горя вместе избудь, а третье пополам раздели. И не глядят на Мамонта братки. Стоят они под дождем рваные, драные, хворые, голодные, вшивые. Протявкает команда — тронутся молчком, неприкаянные. Целый день будут тяжко трудиться, мокнуть на дожде и в ржавой болотной воде, будут их травить собаками, бить прикладами, а вечером придут они, истерзанные, и опять не взглянут на него. Тихонько, молчком минуют они Мамонта, непокорные, гордые, породненные болотным своим братством. И хочет он кинуться следом, сказать им, что он тот же самый Мамонт остался, что он, может, злее других врага ненавидит, хочет сказать, вот уже и слово готово,— а другая думка стеганет холодной молнией и заледенеет язык. И шепчет он сквозь хмельную тоску:

— Не поверят... Ты же «кот»... Мурочка немецкая.

Неизвестно, до чего бы он в одиночку додумался, вся-

кое могло случиться, да только кое-кто, умная голова, пользу делу в Мамонтовой должности усмотрел.

Идет он один раз по лагерю, сумерки уж спускались, вдруг слышит — камешек его по спине цокнул. Оглянулся — ни души. А камешек лежит возле ног, и бумажка к нему привязана. Схватил его Мамонт — и в карман. Ночью прочитал. Назывался он в этой записочке младшим сержантом Котовым. Два слова «Родина» и «присяга» подчеркнуты. Дается ему задание и дальше «котом» оставаться. «В твоей клетушке,— пишут,— очень просто живых фрицев переделать на мертвых, одеться в ихнюю форму, пройти на вахту, побить дежурных и захватить оружие. Если, мол, согласен, подойди к человеку, который соловьем поет».

Заплакал Мамонт.

— Спасибо,— шепчет,— товарищи, братки родимые... Теперь умру, а не повихнусь!.. Живых, значит, на мертвых? Это можно. Еще как можно-то! Это уж Мамонту поручите. И не спикают! Карла особенно...

На другой же день стал Мамонт к соловьям прислушиваться. У реки да на болоте на разные голоса щебеток ихний сыплет-разливается, а в лагере не слышно что-то. Молчит певчий. С неделю так-то прошло. Мамонт уж нехорошее заподозревал. «Подшутили, думает, а то и подвох какой затеяли с запиской-то». Опять заскучал. А «соловей» и объявился. Возле умывальника случилось. Только успел Мамонт воды пригоршню из-под сосочка нацедить, а он как пустит трель над самым ухом. И вода ушла у Мамонта промеж рук, и сам на манер пуганого коня вздрогнул, ногами перебрал. Смотрит, стоит рядышком пленный, дядя Паша, по прозванью «Гыспадин хороший».

Вытирает он сухие руки сухим полотенчиком, а сам во все десять стальных зубов улыбается. Улыбался, улыбался — да опять как запузырит по-соловьиному.

Мамонт тогда к нему.

— Это не вы,— спрашивает,— на той неделе меня камешком по спине тюкнули?

— Я,— дядя Паша отвечает.— Моя шутка.

— То есть как шутка? Я таких шуток не признаю.

— Вот оно и славно, сержант. Значит, без шуток работать будем. Ты все обдумал?

— На десять рядов.

— Ну и как?

— А так, что служить Советскому Союзу надо!

— Ну, ты, парень, это не по-громкому. Благодарности нам еще никто не объявлял. Не за что пока, гыспадин хороший.

Мамонт смешался:

— Дык вот и я про то же...

А дядя Паша все руки полотенчиком трет. Лет под пятьдесят ему, а ежик на голове белый совсем. Вдоль лба шрам синеется. Глаза серые, цепкие. Морщины на лице резкие, упрямые.

— Ну, не пяль глазищи-то на меня,— говорит он Мамонту.— Мойся да проходи в наш блок. В шашки сыграем...

Полотенчико на плечо замахнул и пошагал.

...К побегу их шестнадцать человек готовилось. Мамонт семнадцатый. Наметили себе маршрут, на первое время помаленьку стали харчишками, обувкой покрепче запасаться. Ну и насчет оружия... С этим делом Мамонт хлопотал. Ребята ему на болоте березовый коренек подсекли, принесли, а у Карлушки складешком одолжился. Строжет сидит.

— Што эта выходит? — Карлушка интересуется.

— Чертика,— отвечает Мамонт,— выстругать хочу. Это вот у него,— на корень-кругляш указывает,— башка будет, эти два отросточка на рожки обработаю, а из этой вот закорючки нос выстружу.

— А затчем ната шортик?

— Трубка, Карла Карлыч, получится. Здесь вот ма-

газинную часть, куда табак засыпать, выверчу, черенок на мундштук сведу.

— Такой трубка звиня бить мошна.

— Она легкая, Карла Карлыч, будет. Обработается да высохнет — фунта полтора, может, потянет, и то вместе с табаком. Зато фасон!

— Теляй мне тоже такую шортик. Мой рот сама рас бутет.

«И для башки в аккурат придется,— про себя усмехнулся Мамонт.— Поглядим, как она склепана».

Выстрогал он батик себе из этого комелька — примеряется. Ручка в топорище длиной вышла, а набалдашник в добрую брюквину округлился. Точь-в-точь такой же инструмент, каким его дедушка, покойник, в молодых годах волков глушил. Только ремешка нет — на руку весить. Полюбовался Мамонт на дедушкину смекалку и поставил в угол. Пусть, мол, подвянет заготовка.

Еще с неделю прошло. Дядя Паша поторапливает.

— Ладно,— говорит Мамонт.— При первой же возможности... Может, даже сегодня. Им ночью-то пировать за обычай.

А вечером того же дня призадумались ребята.

Принесли с болота на торфяных носилках двоих хлопчиков. При попытке, значит, к бегству... Приказали их на плац сложить, где вечернюю поверку проводят. После ужина пересчитали пленных — с постреленными все в наличности. И ни словечка! Как будто не людей, а пару сусликов захлестнули. Вроде намека давали: тьфу, мол, ваша жизнь. И разговора не стоит. Молчком устрашали. Только и сказано было, что трупы шевелить нельзя. Так и в ночь на плацу их оставили.

У дяди Паши кое-которые и напопятную не прочь. Народ кругом нерусский, рассуждают, языка не знаем, оружья нет, партизаны неизвестно где, а у фашистов собаки, мотоциклы... Всю конвойную роту в таком случае на розыск пошлют. Бросят вот так же, как ребят...

А кто и такое присовокупит:

— Да нас даже возле проходиой могут перестрелять. Устрашаются так, а Мамонт аж весь кипит.

— Помираете,— говорит,— раиьше смерти...

Дядя Паша смотрит на иего да думает:

«Вон она чего не стреляла! Не заряжена была! Допекло тебя, видно, парень, до болятки кошечье зваиье...»

И тоже на осторожных принасел:

— Где же ваш дух, гыспада хорошие? С гороховым супом весь вышел? Оружья сколько-нисколько на вахте возьмем, а там сто дорог перед нами. Хватит нам позора! Товарищи наши каждый день на смерть идут, а мы...

До чего они договорились — Мамонту узиать не пришлось. На свой пост заторопился. Часу в десятом прибегает к нему Карлушка. Без вина в этот раз.

— Пери котикофф лапка. Идьем.

Ведет его к «лагерфюреру» иа квартиру. У того под окнами грузовик стоит, гостями дело пахнет. И верно — густо народишку. Два нездешних офицера восседают за столами, да штуки четыре бабенок с ними. Ну, эти... Их тогда еще «немецкими овчарками» звали. Одним словом, пировать приехали. Самый разгар у них. На аккордеонах наяривают, танцуют, песни поют — дым коромыслом. Карлушка шесть бутылок на тумбочку выставил, масло оковалок на ножик поддел и сует Мамонту в рот:

— Закусывай и проповай.

Мамонт хотел было из всех бутылок стакан иасливать да и за одномах перевернуть его, а Карлушке не так надо:

— Из кашна бутилька отельно пей. Фсе месте — не понимаешь, котора заразна.

Комендант кивает на Мамонта и, видать, что-то веселенькое про него землякам рассказывает. Смеются германцы. С полчаса, побольше ли прошло — Карлушка распоряжается:

— Фсе порятке. Ставляй лапка.

Вынул Мамонт кожаный футлярчик, резину в суконку тиснул, пришлепнул по бутылке и из второй пробовать начал. За столом гости печатку разглядывают да хозяина за смекалку похваливают. А Карлушка не зевает: закуски притащил, стакан второй. Глазом на застолицу косит, а мимо рта не несет.

— Серца, тьяволь, ни перет ни назат.

Тут чего-то вся компания в ладоши захлопала, марши заиграли, «браво» кричат. Выходит из спаленки «овчарочка» одна кучерявенькая — губки под розу, коготки под стручковый перец выкрашены, а одежонки на ней — туфельки мяконькие да ремень с пистолетом на пупке. Поднимается она на бильярдный стол и музыканту ручкой делает. Тот заиграл, и пошла она коленца откалывать. И плечами-то потрясет, и задом повосьмерит, и ногу-то стрелой выставит. Одна грудь портупеей перетянута, другая вольно болтается. «Жжжизьни!!! — кричит музыканту.— Жжжизьни давай!»

И замельтешила туфельками.

Немцы ее поджигают, «арря-а-а» кричат, «гип, гип», Сами приплясывать начинают. Один сивый-белесый уж вкруг бильярда пошел, а музыкант накаляет да накаляет. Плясала-плясала эта стервочка, выхватывает пистолет — бух-бух в потолок. И остановилась. Раскланивается. Немцы от восторгу аж воют, ногами топотят, а сивый-белесый воткнулся ей носом в лодыжки, поднял с бильярда и носит на руках.

Карлушка облизывается стоит. Четвертую уж бутылку потревожил, под пляску-то. На выстрелы человека четыре солдата прибежало. Запыхались. Морды к бою изготовились. Карлушка их в тычки, в тычки да по шеям. Без вас, мол, сиволапые, знаем, почему стреляем. Выгнали солдат — опять «вавилон» открылся. Остальных заставляют раздеваться. Снимают с одной толстухи чулки, а она повизгивает, похохатывает, пьяненькая. На

Мамонта ноль внимания. Не человек будто тут, а дверной косяк стоит. А он смотрит на белую богиню да размышляет:

«Куда ты попала, лебедника моя ласковая...»

Сивый уследил его взгляд, подходит враскачку.

— Красива? — спрашивает.

— Красивая,— вздохнул Мамонт.

Сивый тогда к богине двинулся. Присел перед ней на стул и зовет свою кралю кучерявую. Та на коленках у него устроилась, сумочку раскрыла и достает оттуда красоту за трешницу. Одним карандашиком губы и щеки богине размалевывает, а другим брови наводит. А сивый еще красивше придумал: по косам рожки ей пустил, усы гусарские нарисовал и окурок в губы воткнул. Любовался, любовался, а потом плевка ей.

Мамонт в первый миг не поверил. Да ведь не мстится же. Въяве все. Обожгло ему виски жаром, где-то глубоко заподташнивало... закрыл он глаза.

Вот и ни веночка на ней, ни сарафанчика цветастого — нагая, безродная, поруганная сидит. Нет, не сидит... Пала на коленочки и тянет ручонку к Мамонту. Вот они, рядышком. Пальчики дрожат, как у дитенка напуганного. И голосок народился. Лепечет он, как потайной родничок, вызванивает слезками мольбу свою: «Мамонт!.. Ты добрый! Ты сильный... Защити меня, маленькую!»

Открыл грозные очи Мамонт — пальцы в кулаки сами сжимаются. «Держись! Не моги! Дядю Пашу помни!» — приказывает себе, а из горла злой клекот рвется. Схватил он стакан, наплескал его целый из последней бутылки, выпил и отрешился.

Не стало Мамонта — на его месте отмститель стоял.

Кто его знает, как бы оно дальше-то дело получилось... С Карлой — это ясно. Тому бы он по дороге в лагерь «серце» остановил. А куда бы потом, автоматом завладевши, направился — на вахту или к коменданту обратно — трудно сказать. Такие-то, от себя отвержен-

ные, ие сами ходят — их смелый бог ведет. Да, видно, не час еще...

Вышли оии от комеиданта, а их дежурный унтер дожидается. Бормотнули чего-то. Карлушка Мамонта по спиие хлоп:

— Идем, Мамоит! Унтер-офицыр Фукс терпенье треснул. Три часы котикофф ляпка ошиталь. Цели каиистр самогончика доставаль! Ловки репят.

И заголосил от радости. Да с подвывчиком:

«Холарио-холо...»

Пришли в караулку, а у поддежурного уж и кружечка иалита. Заготовил.

«С троими мне ие совладеть,— думает Мамонт,— пристрелят успеют».

Ну, и за живот.

— Я сейчас,— говорит,— Карла Карлыч... До ветру спешно надо.

— Ну, бистро, тавай!.. Фсегда у тебья случится не фовремь.

Мамоит бегом к дяде Паше в блок. Вот уж плац, вот ребята пострелянные лежат... Только что это? Трупы-то шевелятся!..

Пригляделся Мамонт — крысы! Кишмя кишат... Писк, драка, грызия. Вскрикнул человек... Не выдержал. «Вот и мие...» — выползла было думка, но тут же пресек ее, собрал Мамонт кулачище и то ли иемцам, то ли крысам грозится да бухтит себе под нос:

— Не устрашите, паскуды! Подавитесь!

Оставил ребят судьбе ихией злосчастной Мамоит — свою пошел пытать. Разыскал дядю Пашу.

— Мииут,— шепчет,— через десять бери кого посмелей и ко мие.

Тот как и что не спрашивает — давио обговорено все.

— Ясно,— отвечает.— Иди действуй.

Добежал Мамоит до своей пристроечки, чертика, батажок то есть, на предусмотреииое место поставил, лег

иа топчаи и стоиет. Карлушка с уитером ждали, ждали его в проходиой — ие ворочается «кот».

«Усиул, иаверио, пьяии морта»,— соображает Карлушка.

— Бери кружку,— говорит уитеру.— Идем.

Мамоит извивается иа топчаие, охает.

— Што получилься? — спрашивает Карлушка.

— Живот режет.

— Патчему у меиья ие решет? Я тоше кажии бутилька пробоваль. Виио ие заразии пыль.

— Не зиаю,— Мамоит отвечает.

— Тебье иата фот эта кружечка выпивайт. Фсе парятке путет. Ну?! Бистро!..

Подиялся Мамоит, идет к столу, постаиывает. Баиочку с маслом разыскал, проглотил ложечку — и за кружку. Карла слева от иего иа чурбачке сидит, а уитер справа шею вытягивает. В самый рот заглядывает — без обмаиу чтобы.

Мамоит кружку обеими руками подиимает, совсем ослабиул человек. Уиюхиул самогоиочки да как разведет кувалдами. Уитер черепом об плиту звездаиулся, а Карла Карлыч под порог улетел. Клюиул Мамоит им для вериости «чертиком» по темечкам и размуидировывать иачал. Оружья иет. На вахте, как всегда, оставлеио.

Тут и дядя Паша с товарищем подоспели.

— Переодевайтесь скорей!

Немецкие штаиы иа русские сапоги тесиоваты — шайтаи с иими, иекогда размер подбирать. «Воскресли» уитер с Карлом. Мамоит тоже свою шииелку иадел, батажок снизу в рукав засуиул, кореиек ладошкой прихораиивает.

— На вахту, славяие?

— На вахту!

Мамоит у притвора дверей прижался, а дядя Паша — тук-тук-тук в окошечко и голову отвериул. Поддежуриый видит: свои с аиализа вериулись. Откииул крю-

чок — улыбается, предвкушает... Так ему, зубы наголе, н на страшном суде предстать. Оружья — три автомата и пистолет. Теперь-то уж нх плеиными ие назовешь. Бойцы!

— Выводнть остальных!..

Остановнлись ребята у проходиой, в колонну по два строятся. Дядя Паша всякой иемецкой иецензурой латается, прнкладом одного двинул, «Шнель, шнель!» — кричит. Да победительно так! Часовые на вышках без вниманья. Привычная нсторня. «На электростанцию ведут вагонетки с торфом разгружать». Шаг от лагеря. Еще шаг... Частят сердца у ребят, ох и частят. На вышках-то пулеметчики... Десять шагов, двадцать — фонарн еще рядом почти. Светло.

— Не торопиться! — шнпит дядя Паша и тут же во всю горляику иеметчнны подпускает.

Ох, и памятны вы, шаги к волюшке. Сто двадцать... Двести одии...

— Стой, ребята,— гуднул Мамонт.

— В чем еще дело? — озлился дядя Паша.

— Шоферов среди иас нет случаем?

— Есть,— пнкнул кто-то из колонны.

— На немецких ездншь?

— Могу,— тонеиькнй голосок отвечает.

— Тогда, ребята, сменить план иадо. У коменданта лагеря под окиами машина стоит, а они там...

Предложил, словом, не убегать, а уезжать да еще н н оружьншком раздобыться. Миогие против высказываются. Тревожатся.

— Уходить поскорей надо. Остановились в самых лапах. Нам ли на рожон лезть?

— Да они пьяиые, как слякоть! Не хотнте — одни пойду. Я их и стрелять ие буду. Колотушкой переглоушу! Пойдешь, шофер?

— Пойду,— пнщит.

— Погодите-ка...— дядя Паша вмешался.— Позволь-

те мне распорядиться. Мамонт, я, «унтер» и шофер к коменданту пойдем. А остальные — вот вам пара автоматов — пробирайтесь вдоль шоссейки. Увидите, машина светом мигает, вышлите одного на дорогу. Это мы должны быть.

Перед комендантским домом Мамонт у дяди Паши спрашивает:

— Пленных брать будем?

И не до смеху тому, а улыбнулся.

— Ты сам-то кто таков?

— Значит «овчарок» тоже бить?

— Это уж по ходу действия глядя.

«Унтера» снаружи оставили — и в дом. Двери не заперты — Карлушка-то не вернулся все.

Славно послужил Мамонту березовый комелек. Разбудит которого, даст понюхать, и господи благослови... Больше раза на одну голову не опускал. Без выстрела пошабашили. Шофер женский пол согнал в угол и чивикает на них:

— Молчать, слабодушные, не то вынудюсь вас смерти предать!

Дядя Паша оружье собирает, а Мамонт новопреставленных обшаривает, ключ от машины ищет. Нашел. Отдал шоферу.

— Заводи,— говорит.

— Что с этими гыспадами мокрохвостыми делать? — спрашивает дядя Паша у Мамонта.

— Что делать? Сажай их в кузов. Пусть, гадюки, песни поют, подозрение отводят.

Остался Мамонт один в доме... Подошел он к богине и указывает ей на сивого:

— Вот видишь? Побил я их. Насмерть побил... Знали, чтобы... А ты теперь прощай. Ухожу я. Помнить тебя буду. Красивая ты, ласковая...

И покажись ему тут, что у девушки губы дрогнули. Вскинул он тогда ее на грудь и понес.

— Открывайте борт,— выгудывает.— Не закинуть мне.

Дядя Паша ворчит: ехать, мол, надо, а ты с трофеями... Для чего она?

— Нельзя мне без нее ехать. Не могу я ее в плену оставлять. Пойми же ты, дядя Паша! Варвары мы, что ли, на изгальство ее покидать?

Закрыли борта, совсем бы уж трогаться, а Мамонт опять в дом побежал. Через недолгое время выскакивает. Тронулись наконец-то. Взял Мамонт «овчарок» на прицел и командует:

— Запевай, стервы, «Марьянку»! Поболрей, собачьи ягодки, не всхлипывать... Куда не на тот мотив полезли? Петь — дак пой!..

Дядя Паша интересуется:

— Зачем это тебя еще в дом носило?

— Кошачью лапку комендаиту на лбу отпечатал.

— А для чего бы это?

— А для того бы... Помнили чтобы «сибирского кота», сволочи!

...На берегу лесной щебетливой речушки, под раскидистым кустом орешника, вырыли беглые пленные русские ребята яму. Дно ее устелили мягкими лапками ельника. Долго мыли свежей ключевой водой белые косы, белые ноги, сводили краску с бледных губ и щек неизвестной им по имени девушки-богини. Потом Мамонт укутал ее своей шинелью и осторожно опустил в яму. Лишнюю землю сбросили в речушку. Под орешником снова зеленел дерн, а неподалеку отсюда догорал грузовик...

Вот на этом и кончился Валеркин рассказ, от старого солдата услышанный.

Дедка Михайла хоть и проморгивался местами, а ничего. После-то раскрылатился. «Гордей Гордеичем» ходит. Знай, мол, наших! Вот, мол, какие они бывают, «сибирские коты». Лапку на лоб для памяти... Разыскать

бы этого Мамоита. Земляк ведь близкий... На Ишим-реке возрос.

Месяца три дед всем и всякому про кошачью лапку рассказывал. Время бы и притихнуть, а он нет. Появится в деревне кто-нибудь приезжий-заезжий — обязательно полюбопытствует:

— А не проживает в ваших местах человек по имени Мамоит? Рыжий такой, коиопатый, басовитый...

Да незадача все деду.

— Нету,— говорят,— такого. Рыжие, коиопатые водятся, а Мамонтов нет.

И случилось так, что продолжение Валеркиа рассказа от меия воспоследует.

Направили меня как-то осеиью в Москву, на выставку.

— Езжай,— говорят,— Пантелей, погляди там, что с пользой для наших садов да огородов перенять можно. Кавказской пчелой тоже поинтересуйся,— добычливая, слышио.

Ну, я и поехал. Хожу там, смотрю, спрашиваю, записываю...

В воскресенье утречком является к нам в гостиницу гражданин один и объявляет:

— Кто желает поглядеть выставку картии и скульптур, прошу записаться.

Я, конечно, с большим моим удовольствием. Дари от щедрот своих, Москва-матушка. Повышай уровеиь иам.

Ну, зиачит, и ходим мы своей группой, обозреваем всенародио. Да уж больно торопко объясняет все вожатый иаш. Я приотстал. «Сам,— думаю,— ие без глаз. Без тебя и разгляжу, и вникну».

Ходил я ходил — да с какими-то иностраицами и смешался. Тоже обозревают. У той картины губами пожуют, возле другой ухмыльиутся, иоздрей дернут, а где и вовсе скислоротятся.

Вот, слушаю, и разговор завели. Я-то, ясное дело, ии

аза не понимаю, а парнишка один рядом со мной стоит, вижу, переживает.

— Об чем они? — спрашиваю.

А они вон, оказывается, чего: «Советским, дескать, настоящая, высокая красота до понятья не доходит. К земле долит их. К натуре. Котлованы, шахтеры, поварихи — это еще получается, а коснись чего-нибудь к небеси поближе — нету! Вся фантазия сякнет. Откуда же тут богиням взяться?!»

Старичок один, в моих уж так годах, слушал-слушал эти глаголы, а потом на коренном ихнем языке и высказался:

— Богинь, говорите, нету? Это вы напрасно, господа. Есть!.. Только их у нас не по-римскому или греческому, а по-русски зовут — Зоюшками, Любавами, Лизаветами... Они, верно, не небесной красоты, ну уж тут извиняйте! Не имеем права мы им крылышки приделывать. Народ помнит их курносыми, вертоголовыми, до последней цыпки на ногах, до самой мелкой веснушки на носу помнит. Помнит, как стояли они, нецелованные русские девчонки, перед петлей, перед дулами винтовок, губы — два опаленных лепестка, в синяках, в разорванных кофточках,— непокоренные, отчаянные богини наши. Таких вот в холстах и бронзе выдаем. А вам бы поклониться этим девчуркам, этим вот парням, которые сильнее смерти.

От себя скажу: статуя там такая была. Называется «Сильнее смерти». Трое ребят под расстрелом стоят. Указал он им на нее и спрашивает:

— Замечаете, что ни на одном из них шинелки нет? Это они, господа, Европу ими прикрыли. Серыми... Русскими...

Смотрю я на иностранцев, а у них лики постные сделались. Святостью обороняются. По легонькому «пардоиу» промурлыкали да ходу от старичка.

Мой парнишка тогда сгреб его руку.

— Спаснбо,— говорит,— дедушка. Здорово вы нм...— И тут же забеспокоился: не обиделись бы?

— Ннчего!.. Съедят,— старичок отвечает.— Прасковья мне тетка, а правда — мать. Зиаю я этот сорт иарода. Миого нх развелось на наше дорогое лайку распускать. Из редкого кабачка не тявкают, гыспада хорошне.

Как протянул ои это — «гы-спада», меня н осеинло: «Да уж не дядя ли это Паша?! Вот и шрам на лбу, н зубы стальные...»

Насмелнлся, спрашнваю:

— Извнннте, товарнщ. Вас не дядей Пашей зовут?

Ои уднвнлся вроде бы сиачала, востренько так обсмотрел меия н отвечает:

— Прнходилось н дядей Пашей быть...

«Ои» — думаю.

— А Мамонта Котова вам ие прнходнлось зиать? — опять спрашнваю.

— Мамонта? Как же не зиал! Вместе из плену бежалн. Партизанилн вместе. А вам откуда ои известен?

Рассказал я ему с пятого на десятое и опять вопрос задаю:

— Где ои сейчас, ие знаете?

— Вот он.— И показал на среднего из парней, которые «Снльнее смертн».

— Как так? — подивнлся я.

— А вот так же.

...До последииx патронов отбивался окружеиный Мамонт с товарищамн... По второму разу в плен... Лучше умерлн бы ребята в последней схватке. На штыки бы полезли, иа очередн. Готовые к тому былн... Взяли их с собаками. Кидается такая дрессированная волчара на человека, н еслн ие устоял ты на иогах, ие сломал шею зверюке, ие всаднл ей кинжал в брюхо,— табак твое дело. Сядет перед глоткой — н попробуй пошевелнсь. Это про то рассказаио, еслн оиа одна, а тут до десятка на тронх спустилн. И стрелять иечем.

Конвоировали и допрашивали тоже с собачьей помощью. Били, мучили, жизнь обещали, деньги...

— Укажите, где отряд? — кричат.

— А хренку не желательно? — партизаны спрашивают.

Утром их вывели на расстрел.

Мамонт в середине стоит. Справа от него звонкоголосый скворушка-шофер. В спичинку свел он тонкие губы, смотрит большими, как это тихое утро, глазами на милую зеленую красавицу землю. Слева — дяди Пашин товарищ, унтером который переодевался. Этот плюется и свистеть пробует.

Сложил Мамонт руки на ихние плечи, и застыли они.

Далеко-далеко, за горами Уральскими, из Сибирской земли поднимается солнышко. Вот оно ласковыми лучами тронуло Мамонтовы волосы. Бронзовеют они... Рявкнули автоматы, брызнула на росную траву вспугнутая горячим свинцом кровь, и покачнуло Мамонта.

«Это зачем же я им в ноги валюсь? Вот новое дело!..»

Попробовал он перехитрить смерть: не упасть, куда она клонила,— не перехитрить кащейку!

Стал он тогда просить ее:

— Смерть, Смертушка! Свали меня навзничь...

Не соглашается безносая.

Собрал он тогда по капельке из всех своих жилок последнюю силу, укрепился на какой-то миг и прохрипел:

— Не вам, гадины,— солнышку кланяюсь!..

И вздрогнула земля от его смертного поклона...

И еще про богиню я спросил у дяди Паши.

— Разыскал я ее после войны,— говорит.— Так в Мамонтовой шинели и к месту назначения поехала. По доброму-то, оно и шинель в музее бы повесить надо.

Дедушке Михайле я этого не рассказал. Пусть, думаю, верит старинушка, что ходит красным июльским

утречком над Ишимом-рекой богатырь Мамонт. Косит он заливные лужки, мечет стога, пашет землю и радуется сегодняшнему солнышку. По вечерам подкидывает на полсаженной ноге рыжих Мамонтовичей и рассказывает им про кошачью лапку.

Пусть думает дед...

А на краешках земли нашей народная память по жемчужинке, по алмазинке выискивает дорогие слова, которые как цветы бы пахли, как ордена бы сверкали на богатырской груди русского солдата. И в сказку годятся эти слова, и из песни их не выкинешь, и про геройскую быль рассказать ими достойно.

*

1960 г.



*

ЦЕННЫЙ ЗВЕРЬ — КИРЗА

Без человека «с причудинкой» жизнь-то, она, что еда без приправы. Ни соли тебе в ней, ни уксусцу.

Живет у нас в совхозе кузнец. Левушкой звать. По годам-то Львом Герасимовичем пора величать, да что поделаешь, если мы его с малых лет Левушкой навыкли. И есть у нашего Левушки одна особинка — бережет и хранит он солдатские свои сапоги. Берлин в них брал Левушка.

После войны завел он себе и штиблеты праздничные, и хромовые у него, ушко с ушком связаны, на полатях стоят, а подойдет День армии или Победы День — наряжается Левушка в заветные свои «кирзочки», и нет ему превыше обуви.

В соседях у него живет Аркаша. Тоже гвардеец и тоже кавалер многих орденов. И любит этот ветеран-соседушка ближнего своего легонечко подкусить. Что ни словцо, то и занозу в нем ищи. Насчет тех же Левушкиных сапог... Как он только ни измывался!

— Мономах,— говорит,— шапку потомству оставил, а сибирская пехота с сапогами туда же устремляется. Ты,— говорит,— хоть бы табличку в своей кузнице отплющил. Бронзовую или медную... Размер на ней укажи, полк, имя владельца. Знало бы просвещенное юношество, какой прадед в них обувался.

Левушка все больше отмалчивался в таких случаях. А тут, перед очередным Днем Победы, Пауэрса этого в районе Свердловска сбили. Ну, кто про Пауэрса, кто про Эйзенхауэра, а Аркаша и про того, и про другого. Мало что за каждым разговором поспевает, дак и Левушкины сапоги междуделком не забыл помянуть. Такой уж внутриеиный мужичонка этот Аркаша.

— Ты все кирзу мою трогаешь,— отозвался ему Левушка.— Ну что ж, расскажу я тебе одну историю, может, что и поймешь.

После этих слов свернул наш Левушка самокрутку, затянулся во все меха, ну... с дымком-то у него и пошло.

— Сейчас,— говорит,— стиляг частенько прохватывают. И по радио, и в журналах. А тогда было ни к чему! Людишек таких мало встречалось. Но кое-что похожее вспоминается.

Перед кем вот, спроси, на переднем крае форсить? Не перед кем вроде... И вдруг встречается тебе в окопах человек в любой день, по любой погоде и обстановке до отсверка выбритый, на сапогах зайчики, свежий подворотничок на нем и даже одеколонцем наносит.

Привычка, скажете? Может, и она. Только война да передовая не такие привычки изламывала. На мое сегодняшнее понятие — была у таких людей особая, своя тайная гордость. Перед самой смертью они заносились,

Презренье ей желали высказать. Оскорбить. Плюю, мол, на тебя, безглазая! Знать не хочу! Не переменишь ты меня, живого!

Был такой слой среди фронтового народа. За одно это их уважать начинаешь.

И был другой, с уклончиками...

Хоть и грешно, конечно, сравнивать, но к теперешним стилягам их поближе можно поставить. Соприкасались кое в чем... Не по нутру, а насчет одежонки, побрякушек. На «комсоставское» этих тянуло. Так тянуло, что другой сердяга пайка недоест, наркомовских ста грамм недопьет, а только бы ему брезентовый ремень на кожаный сменить. Да чтоб с портупеей! Или с двумя. С двумя лучше. Да чтобы свисток, прах их возьми, был! А где свистеть? Чего свистеть? Какая милиция к тебе на выручку прибежит?

Дальше, глядишь, защитные пуговки парадными постепенно заменять начнет. «Парабеллумом» еще не разжился и разживется ли — неизвестно, а кобура уже при местечке. Нежит холку. А через это и душе услаждение. Не дала коза молока — хоть пободаться. Не вышел в командиры — зато свисток.

В этом-то разрезе придется мне Жору Гагая упомянуть.

Получаем мы как-то пополнение... из партизан. Переобмундировать их нигде не успели — важно было, чтобы лишний штык подоспел. Крутенько приходилось.

К нам в роту их шесть человек прибыло. Кто в деревенский кожушок одет, кто наполовину в немецкое, а один браток на манер международного гусара подбарахлился. Вовсе приметный. Хромовые с жесткими голенищами и со шпорами сапоги на нем, широченные из голубого сукна шаровары с кантами, венгерка с седой выпушкой и косматая, раструбом вверх, не меньше как из двух овчин выкроенная, шапка-кубанка. Аккурат пол-Кубани накроешь. Шерсть сосулистая. По зеленому верху крас-

иые полосы в внде звезды пущены. В полах венгерки трофейиый бннокль без чехла болтается. На руке — компас, вдоль лодыжкн — шашка. И ко всему этому параду — прниюшливое, востроносое такое лнцо на изгнбчнвой шее обстановку оцеинвает.

Наша братва оттеснила одиого «кожушка» и допытывает потнхоньку:

— Команднр ваш?..

— Не...

— Разведчик?

— Не...

— А чего у него папаха?

— Натурность такая! — покрутнл растопыренными пальцами «кожушок».— Трыкотаж мы его зовем...

Тут нх по взводам началн определять. Вопросы времеино прншлось прекратить.

Через полчаса по всей иашей обороне про этого «гусара» толки шлн. Кому свободно было — залюбопытствовали лично взгляиуть. Развлеченье же!

Пошел н Ефим Клепкин. Ну, во фронтовой землянке свет известно какой. Некоторое время голоса слушаешь, пока не прояснит. Насторожнлся Ефнм и на голос по шажку пробнрается.

Под папаху глянул:

— Егорка!!

— Дядя!! — соскочил «гусар».

Обнялнсь. Расцеловалнсь.

Пошлн обычные в этих случаях расспросы-допросы. Ефнмова местность в то время находнлась в оккупацнн. Племяннник-партнзан хоть н ннчего утешительиого не сообщил, но уже через пять мниут начал полегоньку всхохатывать.

Хохоток у него получался особеииый. Сверкнут вдруг на одномнг зубы, н нз-под ннх прямо выстрелнтся коротенькое «га-гай». Вспышками так, рваиой очередью...

Слушает Ефим племянннка, а сам подозрнтельно все

его гусарские доспехи оглядывает, особенно сторожко папаху обследует.

Примерно через час явился он в землянку командира роты, откозырял, попросил разрешения обратиться и застыл.

— Обращайтесь,— разрешил ему командир.

— Тут с партизанами племянник мой прибыл, Егор Хрычкин, в наш бы взвод его перевести. Вместе чтобы... в третье отделение...

— Родной племянник?! — оживился ротный.

— Настоко... хе-хех.... родной, что собственноручно драть приходилось.

— Это за что же так?

— За разное... По домашности... Не желаю и вспоминать даже,— махнул рукой Ефим.

Потом округлил глаза и как бы под секретом сообщил:

— Видали, какая папаха?

Ефим в нашей роте старослужащим числился. Был он храбрый, исправный солдат и неплохой товарищ. Молодежь даже батей его называла. Любил он все в корешке исследовать, от самого семечка. Если землянку рыть — сначала стенки у окопа поколупает. Песок минует, на глинке остановится. «Вот тут само... Глина, она и против фугаса, и осыпи такой не дает». Про Гитлера разговор заведут — интересуется, почему тот мясо не ест, в какой вере родился, жива ли теща.

— Сватов, что ли, хочешь заслать? — подскульнет кто-нибудь.

Таких лобовых вопросов, да еще с признаком насмешки, он не жаловал. Руки в рукава спрячет, глаза сонной пленочкой у него поволокет, нос над губами повесит — и застыл. Ни морщинкой, ни волосинкой... На хворого петуха в таком виде походил. Перемолчит, сколько его душе потребно,— заговорит. Только уж не с обидчиком... Тому теперь долго приветливого взгляда ждать.

— Ну и что же... папаха? — приготовился выслушать его ротный.

— А то, что... мыслимо ли это, столько баранины на себя наздевать?.. Штаны голубые! Мстителем себя называет...

— Ну и что в этом особенного?

— А то особенное, что поскольку он мне родня, то и прошу... Не с поля вихорь... Кто породил, тот и должон соблюсти...

Из таких недоговорок вывел ротный, что не столько обрадовался Ефим племяннику, сколько встревожился. Ну, командирское дело известное. Обязан своих подчиненных знать. В случае чего — с тебя в первую голову взыщут. А тут, так сказать, из первых рук.

Принalег ротный на Ефима:

— При чем же все-таки папаха, не понимаю?

— Не стоит и понимать, товарищ старший лейтенант,— заспешил Ефим.— Не стоит и голову ломать... Вы его переведите, а я уж ему и отцовство, и командирство, и касаемое устава... постарше все-таки я...

Как ни увиливал Ефим, как ни ускользал, а пришлось ему расшифровочку своему племяннику дать.

— Он, пес, с мальства... Поначалу в школе да в клубе, а опосля и самосильно. Как, к примеру, такой вот случай оценить? Огородницами у нас сплошь девки были. Молодежное звено. Пропалывают они всякую свою петрушку и слышут — чихнул кто-то на деляне. Огляделись — никого. Решили, что грач это чем-то подавился и не так скаркал. Дальше работают. Разговоры у них откровенные по своей линии идут. Кого опасаться? Одно чучело. Да и то в юбке снаряжено. Полют на кукорках. Варька Птахина возле самой чучелы оказалась. Уничтожает себе сорняки — бай дуже... Вдруг кто-то щекоть ее за укромно местичко под мышкой. Девка всхрапнула, взбрыкнулась и только заметила, что чье-то троеперстие в чучелин рукав уползает.

— Ох! Девоньки... ох! — заобмирала она.

Те всполошились.

— Что с тобой, Варька? Змей, что ли, укусил?

— Не змей... не змей...— пошатывает девку.

— Шкарпиона увидела?!

— Чучела... чучела... меня пощупала.

Девки сразу бдительные сделались, подозрительные. Ровно козий табунок перед прыжком насторожился. А чучела как даст вприсядку да как загнусит: «Ой топушеньки-топы, что иаделали попы...» Девок с огорода будто вихрем подхватило. Бегут они, бегут — огляиутся: пляшет чучела. Таково-то лихо по корнеплодам чечет бьет! А над ним грачи ревушкой исходят, мечутся... Три дня девки на работу не выходили, пока не выясинлось. А сейчас, понимаешь, папаха... Сапоги... Сапоги со шпорами...

— Ну и что ему за девок? — усмехнулся ротный.— Не тогда ли ты его собственноручно-то?

— Нет... Это в другой раз. Всем родством мы его драли тогда... Мстителя...

— За что же так?

— Стыдно даже говорить... Ведь выродится! Брата мы тогда, товарищ старший лейтенант, поминали. Сороковины, значит. Родня у нас большая. Ну, выпиваем помаленьку, про покойного судим, вдову утешаем. И вот появляется на пороге женщина. Тьфу!.. Женщиной еще называю... Ро-о-жа, товарищ старший лейтенант, о-от такая! Поперек себя толще. Скуластая, нос со взъемом, губы вразвал и веселая-то, превеселая.

Покривлялась она на пороге и заявляет с акцентом:

— Я Параскева Пятница... С того свету явлениая... Сидор Григорьевич ччас богу рябчиков да куропаток стрелять подрядился — наказывали они мне ружье да патроиташ им доставить.

А брат у нас, и верно, охотник был. Мы, все выпивающие, в первый момент в лице переменились. Тут по-

минки и тут — «явленная». Суеверно же! Бабы в куть сбились, крестются. Ладно, средний брат меньше выпивши был. Не оробел он — цоп с нее платок, цоп маску! А под маской — он. Мститель теперешний... Ощеряется стоит. Я, говорит, повеселить вас желал. От рыданьев отвлекчи. Ну, мы с напугу — и позорно опять же перед деревенским мнением — чуть не засекли его в тот раз. Уложили на скамейку, юбки завернули и пошли полыскать. Брат левую полушарию секет, я — правую. Свись — шлеп только, свись — шлеп!

— Параскеве! Пятнице! Параскеве! Пятнице! — И чем дальше, то смачней нам. Под приговорку-то рука сама иесет.

А тут вдова с начиненным патронташем вбежала. Как развернется с обеих плеч шестнадцатым калибром — по всему материку разместилось. И тоже под приговорку:

— Рябчики! — визжит.— Куропаточки! Тетерки! — Боровую дичь перебрала, за плавающую принялась: — Чирушки! Нырушки!

Вот в какой срам втравил! По поверью-то душа покойника последний раз в родном кругу присутствует, а нам его заголить пришлось. Приятно ей это? Конечно, выпивши были... Хоть как суди...

— Ну и подействовало? — сквозь смех спросил ротный.

— Горбатого, видно, могила одна...— вздохнул Ефим.— Это надо же такую папаху поиметь! Так что прошу, товарищ старший лейтенант. Я наблюду. А то он и здесь изобретет. Штаны, понимаешь, голубые...

Оказались дядя с племянником в одном взводе и в одном отделении. Через три дня переобмундировались наши партизаны. Свое, что на них было, старшина забирать не стал... Девай куда хочешь. Забрось, продай, подари — только вещмешок не отягчай. «Сверху» так приказано было. По-другому поступи — еще обидишь партизана. Кровью, скажет, добыто. Гусара к этому вре-

меии из партизанского Трыкотажа в регулярного Гагая перевели. За этот его особенный смешок Жора Гагай стали звать.

Гардеробом своим он так распорядился. Венгерку артиллеристам промениял — пару комсоставского обмундирования за нее взял. Шаровары иа портяики раскроили. Себе, дяде и командирам. Бинокль, сапоги и компас не противопоказаиы были... При ием остались. Папаха тоже. Сколько он ее ни нахваливал — подходящего рода войск под нее ие иаходилось. Приспособились они с дядей в изголовье ее класть. Как коты, блаженствуют! Шашкой хлеб режут да растопку для печурки строгают.

Зарегистрирован был и такой факт. По утрам морозцы еще куда с добром, а Жора без шинелки все норовит покрасоваться. Комсоставское суконное обмундирование на нем, к этому ремень с портупеей закупил. Выбодрится — что ты брат! Кадровая косточка!

— Зря ты это, Егорка...— косится на иего Ефим.— Не знаешь разве, что снайпера в первую очередь комсоставов убивают. Им ить в свою биноклю видно.

— Всех убивают,— отмахнется Жора.— Кто ловко иа мушку попадет — тому и капут. Высунься спробуй за бруствер! — агитирует дядю.

Ну, чужое перо мало кого до добра доводило. Ефим ие зря опасался. В одном из боев ранило Жору в руку. В мягкие ткани навылет. Это бы не беда. А вот чего ои в госпитале отмочил!

С шинелью, сразу же по заходу в тепло, развод взял. Потому — солдатская. В уголочек ее куда-то комочком свернул. А сапоги — на вид. На полкоридора раскинул. Рукав у комсоставской гимнастерки зубами подвысил, чтоб компас обозначило, и сидит, бинокль оглаживает. Ни стона, ни вопля ие испускает. Открывается из перевязочной дверь, и ласковый медицинский голосок приглашает:

— Проходите, товарищ... командир. Можете сами двигаться?

— Могу. Га-гай...

— Звание ваше? — заводит историю болезни сестра. Погон на гимнастерках зимой, случалось, не носили. Он и взыграл:

— Младший лейтенант.

— Должность?

— Стажировку прохожу. Токо с курсов «Выстрел» и вот опять... га-гай... под выстрел...

Отсюда и пошло.

В госпиталь он первый раз попал, порядков там всяких не нюхал и не знает, а сам помнит, кто он теперь. Лежит, значит, и из-под простыни наблюдает: какие такие госпитальные льготы командному составу положены.

На первых порах пало ему в глаза, что не всех одинаково санитарка обслуживает. Кому стеклянную посудину принесет, кому фарфоровую. Засек он это и тоже зажалобился.

Нянька, что он ходячий, не знала. Приносит ему стеклянную «уточку» и, как была она женщина пожилая, с большим медицинским стажем, без долгих разговоров под простынь ее налаживать принялась.

— Ку... куда! Куда! — заотбивался здоровой рукой Жора.— Какую ты мне у...утку принесла?

— А какую тебе надо? — озадачилась санитарка.

От напугу он тут напутал или от юного стыда:

— Комсоставскую,— говорит,— неси!

Та вовсе оторопела. Разглядывает посудинку да приговаривает:

— Оне у меня все рядовые...

— А белая-то! — уточнил Жора.— С широким-то горлышком...

— Дак это...— всколыхнулась санитарка.— Это у нас... как бы сказать...

В палате запохохатывали. Гагай недоброе запредчув-

ствовал. Санитарка на улыбки сошла, до конца его проинструктировать хотела, а он как гаркнет на нее:

— Молчать! Стань по стойке «смирно»!

И сразу же знаменит сделался по госпиталю.

Ну, такая побывальщина долго в одном расположении не живет. Известно стало нам, кто этот «младший лейтенант», кого и за что он по стойке «смирно» ставил.

Дядя изохался:

— Ежели бы, сказать, местность, деревня у нас какая легкомысленная была, так нет. Родня тоже — даже сваты сурьезные. Вроде предчувствия у меня эта папаха в головах лежала! Так мысль и сквозила, что что-нибудь...

А Жора как ни в чем не бывало вернулся. Гагай за гагаем из него выстреливается. Короткими очередями. Не журится парень.

— А чего они там все смурные лежат. Дай, думаю, сшибу малахолию,— госпитальный номерок объясняет.

На ложках играть на досуге выучился, «гоп со смыком» петь — хоть бы чхи ему. Одолжится у кого ложкой, коленку завострит — и полилось:

Я спою вам, братцы, новый «гоп»:
Приходил к «катюше» Риббентроп,
Говорил, что ему дурно, выражался
нецензурно —
«Ох, зачем нас мама родила!»

Такое «политзанятье» проведет — ажно ложки накалятся. Дядя только головой покачивает. А один раз не стерпел:

— Я думал, племянничек, судя по папахе, ты в мозги расширяешься, а ты... После «сороковин» надо бы... Тогда плетюганами отделался, а здесь для таких «комсоставов» и трибунал недалеко.

— Ну, ставь теперь меня к высшей мере! — оголил грудь Гагай.— По Параскеве Пятнице... прицел постоянный... залпой... га-гай... огонь!!

После отданной команды свалил на плечо голову, завел под лоб глаза, по самый почти корень выворотил язык и всхрапнул. Расстрелянного из себя представил.

— Ты что?! — заподжигало Ефима.— Я тебе кто? Насмешки?! Ах ты... Гагай кромешный!..

И стал он после этого по фамилии племянника звать и то при крайней нужде. Раньше при построении рядом становились, а тут на другой фланг дядя ушел. Папаху за бруствер выбросил. Так что и спать стали отдельно. И табачком врозь, и сахаром. До того крепок в своей обиде этот Ефим был, что получил первое за три года из дома письмо — и уж тут ли не поговорить?! А нет. Писал — молчал, читал — молчал.

А письмо было невеселое. Сообщала ему супруга Татьяна Алексеевна, что не осталось у них после фашиста «ни сивки, ни бурки». «На себе пашем,— писала она.— По семь баб впрягемся и душимся в лямках. Жилы на нас твердеют. Задыхаемся, обессиливаем. Хлебушко-то — звание одно. Напополам с травой. Упасть и завыть. Ради только нашей победы и не падаем...»

Дознались про это письмо политработники, и получилось, что писала его Татьяна Алексеевна одному Ефиму, а читали его по всему нашему фронту. В листовку напечатали, митинги начались.

В ярость слова этого письма приводили. До любого сознания косились: жену твою, мать ли, невесту в тягло превратили. Страшно это было. Ум не принимал. Которые ребята на возвышение поднимались — те вслух местью клялись, которые не поднимались — в сердце засекали.

Жора после этих митингов притихнул. Ведь и его мать там же. В одной, может, упряжке с Татьяной Алексеевной. Заметно стало: помириться с Ефимом старается. Разговором ему сноровляет, делом услужить готов. Только безрезультатно... Молчит дядя. А выскажется — тоже мало радости. Жора ему соломки под пожилую поясницу расстарается, а он:

— Не стоило тревожиться, товарищ младчний лейтеиаит. Вы бы лучше «гоп со смыком» спели да в ложечки... рататушкн-ратату, тюрлимурли-атату.

Разладилась у них родословиая. Совершенно разладилась.

Жора хоть и бодрился сиаружи, а в себе-то, виндать, переживал. Это, скорей всего, и подшевелнло его некую одиу услугу дяде оказать. Да н задобрить, видимо, хотел. На предмет, чтобы не особо в родиой деревне дядя про его «лейтеиаитство» распростраиялся. Тут же, можио сказать, ие напрасио партизаиы его Трыкотажем прозвали. Оправдалось.

Стояли мы тогда в Германии. Войиа коичнлась... И вышел Указ о демобилизации старших возрастов. Домой, солдатушки! Теперь ваше дело вовсе правое.

Вместе с другими собирался н наш Ефим. Правильнее сказать — собирали мы их. Как иевест... От командоваиия нм — подарки, от друзей-товарищей — подношеиья. В трофейных складах неопрнходоваииые излишки оказались — оттуда. Да н сам солдат дом чуял. Где закупил чего, где еще от боевых дней заветиый трофей сохраиился — славиые «сидорки» этнм старшим возрастам навязывали.

Ну, при сборах, известио, и мусор бывает. Сбрасывали в этом случае в чулаиы всякую солдатскую рухлядь. Шаровары отжившие, погоны отгорелые, пилоткн ветхие, портяики, ремин рваные, полотеица — такое, одним словом, за что тряпичиики свистульки дарят.

Ефим долго оглядывал свои стареиькие, повидавшие фронтовых сапожинков, чеботки. Оглядит, иа колеикн складет и задумается. Снова голеиища помиет, переда оцеиит, по подушкам щелчком пройдется — опять задумается.

И ие выкннул! Под койку поставнл.

Наступил день, когда полк провожал по домам — на Родину, увольнял нз-под своего знамеии боевые свон

старшие возраста. Усатые, морщиинистые да жилистые, тут и там сиовали «детиики с седиикой», чудо богатыри-победители. Одии добегался — застарелая грыжа возбудилась. Вправляет ои ее перед штабиым крыльцом — документы спешит получить — вправляет, зиачит, и обшучивает:

— Всю войну, дезертирка, виутрё уходила, врачи даже ие могли дощупаться, а тут — пожалуйста! На победу поглядеть вылезла. «Полюбуйтесь иа миие, тыловую крыцу!»

Другого одышка остаиовила. Хватает ои ртом воздух, а сам междуделком иовую поговорку придумывает: «У руся... тока одышка... а гермаиу уж крышка».

Мешки стояли «под завязку», чемодаиы ремнями обкручеиы: после обеда прощальиый митииг, оркестр — и в эшелоиы. Домой!

— А где сапоги! — спохватился вдруг Ефим.— Ребята, ие видели моих сапог?

— На танцы отчалили, дядя Ефим!

— Фокстротик откаблучивают! — скалились младшие возраста.

— Под койкой все стояли...— собирался завериуть...— шарился в пожитках Ефим.— Диевальный! Ты ие выкидывал?

— Погляди в чулаиах. Может, и выкинул при уборке.

Ефим на два раза перерыл все тряпье — иет сапог.

— Куда они могли подеваться? — иедоумевал ои.

Дневальиый обеспокоился.

— На кой оии тебе сдались? — прииялся урезоинвать ои Ефима.— Им и цеиа-то — подиять да бросить.

— Толкуй! Я в инх чуть ли ие от Курцкой дуги иду...

— Ну и довольио им!

Среди такого разговора появился в дверях Жора Гагай. С левой руки у иего свешнвался кусок снтца и два, на самый цыганский вкус, платка.

— Держн, дядя,— протянул ои все это хозяйство Ефиму.

— Кому передать прикажете? — стрелил тот скороговорочкой.

— Сам распоряднишься. Твое.

— Как то нсь мое? — оторопел Ефим.

— На твон... га-гай... шкарботин вымеиял.

— На какие шкарботнн?

— Ну, иа сапогн, если не поннмаешь. Старые твон валялнсь...

— Ты, значнт, взял?.. Вон оин где... Кому? Кто за ннх этн ситцы дает?

— Дают,— хнтренько подмнгиул Жора.— Амернкаиец тут один маклачит... Барахло всякое наше скупает. Переводчнка даже с собой воднт.

— А к чему бы онн ему, мон сапогн?..— подивнлся Ефнм.— Старье ведь?

— В музее будут их ставить,— охотио пояснил Жора.— Показывать, во что обувался русский солдат прн Советской власти.

Ефим моментом разметал ситцы и заподиосил сухонькне свои кулачки к Гагаеву иосу:

— Что ты наделал, баранния твоя папаха?!

— Там н сапоги-то...— нспуганно забормотал Жора.— Раз строевым рубаин, н шпнлька высыпнтся...

— От дупло-голова! От Гагай кромешный! — иалетал на него Ефнм.

— Ну, ие ругайся,— уклонялся от дяднных кулаков Жора.— Надо, так отоберу пойду. Чего зря тнкстиль швырять.

— И отоберн! Тнкстнль — трыкотаж... Я сам с тобой пойду! Покажу, как чужнмн сапогамн сделку сотворять!

Старшне возраста уговарнвать его приняланс:

— Не ходи ты, мужнк, ннкуда ие ходи! Два платка да иа платье — этого и за новые не возьмешь.

— Не ваше, опять же, дело! — огрызнулся Ефнм.— Веди! — толкиул он Гагая.

За ними любопытных несколько человек увязалось.

— Угоди вот ему,— жаловался дорогой Жора.— Так — нехорошо, эдак,— неславно.

— Угодничек, прах тебя! — ворчал Ефим.— Чего теперь говорить будешь своему мерикашцу?

— Скажу...— отмахнулся Жора.— Только бы на месте их захватить. Им еще одни ребята сулились принести.

— Сапоги?

— Ага. Сапоги, ремни, пилотки...

— Ишь, моду какую берут! — усмехнулся Ефим.

А они, союзнички, действительно слабинку такую имели. Один на моих глазах банный веник-опарыш — два взвода им перехлесталось — в свой сектор нес. Нашего командующего конь чуть куцый по той же причине не остался. Тому волосинку из хвоста вырви, другому... Куда уж потом они с этими памятками — перепродавали или знакомым показывали — аллах их знает.

— Стоят! — обрадовался Жора.— Вон они!

Возле афишной тумбы раскуривали два дельца. В полной военной форме, при званьях и, видимо, с пропусками. Не таились. В ногах у них стоял желтый, как лихорадка, чемодан. На нем, тоскливо свесивши ушки, лежали запроданные Ефимовы сапоги.

— Але! — издали закричал Жора.— Кышмыш, понимаешь, получился! Сапоги-то я вам за простые загнал, а они, оказывается, кирзовые.

— В чьом деля? — строго посмотрел на него переводчик.

— А в том, что не олрайт вот дяде. Продешевил я вам по недогляду... Голимая кирза, а я за простые их...

— Что нушна... кырьзя...— завымучивал из себя второй союзник.— Что-о-о кырьзя?.. Что кырьзя?

— Что такое кирза, спрашиваешь? — заспешил ему на выручку Жора.— Соболя... га-гай... знаешь?

Союзник уставился на переводчика. Тот пояснил.

— О-о-о! Да, да,— заулыбался союзник.— Собол карош. Каро-ош! Каро-оо-ош!

Протягивает так-то, а сам глазами по ребятам шарится: не вынет ли кто из-за пазухи соболью шкурку.

— Соболь хорош, а кирза три раза его в цене преодоляет,— закивал Жора на Ефимовы сапоги.— Ценнейший зверь! На Северном Урале только водится да... га-гай... по диким степям Забайкалья еще.

Переводчик усмехнулся. Жора, как клещ, в эту усмешку:

— Не веришь? А ну, дай сапоги! Дай, дай!

Переводчик нехотя протянул. Гагай сошлепал дряхлыми голенищами и спросил:

— Видишь?

— Чьто тут видеть нушна?

— Голяшки видишь из чего?

— Ну... кирзовые.

— А я что говорю! Ценнейший зверь, хоть и голомехий! Мы из него одни голяшки шьем. А союзки, переда, запятки из простой уж кожи приходится. Министерство... га-гай... не разрешает. Так что вот вам ваши тряпочки, вот нам наши кирзочки.

С этими словами он кинул на союзный чемодан платки с отрезом, а сапоги протянул Ефиму.

— Если бы не кирзовые, с дядиным бы удовольствием,— засмущался он перед союзниками.— И как я, размерси-мерси, недоглядел?

Других извинений от него не последовало. Развернулся и пошагал. За ним — дядя и остальные.

— Ох, и пес же ты, Егорка! — впервые со времен самозванного лейтенантства назвал его по имени Ефим.— Откуда что возьмет?! Прям струей валит. Ценнеющий... хе-хех... зверь! По диким степям Забайкалья... Ну, пес! Министерство ему не разрешает.

У ворот расположения встретил их злой и запыханный командир третьего отделения.

— Где ты блукаешь? — напустился он на Ефима.— Его в президиум выдвинули, а он... Живо! Замполит из-под земли тебя приказал достать.

Ну и с места в карьер потурил всех на митинг. Ефима персонально протолкал к столу президиума и легонечко козырнул замполиту: доставил, мол.

Начальник штаба зачитывал приказ: «...передать колхозу «Путь Ильича» два трактора, одну автомашину, восемь лошадей и излишки сбруи».

— Это какому же «Путю Ильича»? — спросил у отделенного Ефим.

Тот вместо ответа локтя ему в ребро. Замри, мол.

— Доверенность на получение тракторов, машины, лошадей и прочего,— зачитывал начальник штаба,— выдать рядовому нашего полка Клепкину Ефиму Григорьевичу.

У Ефима загорелось лицо.

«Татьяну Алексеевну Клепкину, Евдокию Васильевну Хрычкину...— ну, дальше там еще много фамилий шло,— командование награждает медалями «За победу над Германией». Младшие возраста зааплодировали, а старшие даже выкрики допустили:

— Показать Ефима Григорьича!

— Слово ему! Пусть скажет!..

Через полминуты Ефим стоял на трибуне. Был он красный, взъерошенный, в левой и правой держал по сапогу.

— Не мастер я...— повернулся он к замполиту.— Бумажку бы...

— А ты с голенищи читай! — хохотнули старшие возраста.

— Разве тока так? — встретился опять взглядом с замполитом Ефим. Тот прикивнул головой.

— Тогда ладно,— подмигнул Ефим полковому братству.— Тогда я вам с голенищи... хе-хех...

И он действительно расстелил перед собой один сапог.

Другой находился у него в руке и по ходу речи выполнял всякие упражнения.

— Чуть-чуть, братцы-дружина,— начал Ефим,— еще бы маленько и ушли бы мои сапоги сегодня за окияи. Мимо острова Буяна... Хе-хех... За ситец были проданы! Бегал я их репатрулировать, из плену то ись выручать. Почему и на митинг задержался. В музей! В музей будто бы их там поставить хотели! — звонко выкрикнул он и вскинул над головой сапог. Секунду прицеливался — достоин — нет он в музеях стоять — и продолжал: — Конечно, они, наши сапоги, победительные... С этой точки рассудить: пусть, мол, стоят. Оно вроде и гордо даже. Но и рисково! Не всю нхнюю славу поймут музеи, не всю зачтут. И без этого — пусть-ка они дома пока постоят.

Я тут кой-кому из сослуживцев намекал, что туповат местами был. Сейчас подробно на этом остановлюсь. Начну со вступления в законный брак... Венчался я в хромовых сапогах, товарищи! Хозяйский сынок раздобрился. Жали они ему, ну и... походи, говорит, в них, пока медовый сезон. В такой периуд, говорит, никаких мозлей не почувствуешь. Для разноски дал. Отвел я свадьбу и переобулся во что бог послал. Не до хромовых было. Лошаденку надо было заводить, хозяйством сбиваться. Из батрацкой упряжки не вдруг-то разживешься.

А мечта насчет хромовых-то была, постоянно была. Главно — перед женой мне было конфузно, ну, и перед ее родней... Венчался в хромовых, а живу в апостольских. Вексель выдал, сам в банкротах... А тут тестюшко еще губами жует.

Ну, все-таки одно время сбился я деньжонками. Заведу, думаю. А тут гостенек ко мне в избу. Секретарь партийной ячейки... О том-сем переговорили и к такому разговору подошли: «Надо, Ефим Григорьевич, на заем тебе подписаться. Заграничный капитал, говорит, помощи нам не дает и не даст, у государства казна недостаточная — на свой народ надежа. Самим надо! Тяжелую индустрею

в первую голову подымать надо. Надо, Ефим! Иначе — сомнут нас и стопчут. Ты, говорит, как бывший бедняющий деревенский пролетарий, сознательней других должен быть. Пример должен подать».

Я почему говорю, что туповат был?.. А потому, что целых три дня этот сознательный тошновал: «Сапоги или индустрея? Индустрея или сапоги?»

Секретарь ячейки еще не раз побывал. «Ты посмотри, как живем, говорит. Русские кони автомобиля боятся. Гвоздик за находку считается! А между тем миллиарды железа нетронутые лежат. Не с чем подступиться. А нам ведь не на плужок только. Оборону укреплять надо! Капитал в случае чего, знаешь, как на нас выспится. Танки нам надо, Ефим. Ероплановы! Тут ситцами, говорит, не занавесишься».

Уйдет он, а мне ни на печи, ни под сараем места нет: на что решиться? Сапоги или танки? Одно мило, в думках прилелеяно, а другое — надо, говорят. Дошло — хоть на «орла-решку» мечи.

Окончательно сагитировала меня дочка. Букварь ей был куплен. Водит она по нему пальчиком и складывает тоненьким голоском: «Не-си-те, де-ти, сво-и ко-пей-ки. День-ги со-бе-рем и ку-пим за-ем». А, быть по сему! — решаю.— Раз уж в ребячьих букварях об этом, раз уж про копейки разговор, значит, действительно надо. Быть по сему! Остался я опять без сапог.

А там и пошло. На домны, на шахты, на электростанции... Так и не поглядела на меня моя Татьяна Алексеевна, каков я гусар мог быть в хромовых. В самодельных постолах прощеголял да вот в кирзовых.

А сейчас... А сейчас и головой вот, и душой, и сердцем... Если живой он, тот секретарь, подойду и низкий, низкий поклон отдам: «Спасибо тебе, друг,— скажу.— И за домны, и за танки. А особо за то, что пофорсить мне не дал». Шел бы я сейчас в хромовые разобутый, в рябенькие ситчики разнаряженный, а фашист нас таких для пол-

ного параду кнутиной бы перепоясывал да подвеселивал: «Эй-гей, славяие! Бороздой! Бороздой!» Именно так бы и получилось! И не для того только, чтобы я ему сотку вспахал, а и для того, чтобы я поскорее на этой сотке подох. Пространству бы ему освободил. Вот он от чего увел меия, секретарь иашей деревенской ячейки. Почему и ценные они мне, кирзовые мои победители! — вскинул опять дряхлый свой чеботок Ефим.— Почему и погодил я их в заграиичные музеи отдавать. Не всю ихнюю кирзовую славу поймут там, не всю зачтут... Да еще, по своему обычаю, в иасмешки пойдут. Русь, мол, фанера... куфайка... койка... балалайка... А там это ни к чему. Не шибко-то смешно мие перечитывать тот дочкин букварь, где чуть ии с первых страниц призывалось: «Не-си-те, де-ти, копей-ки».

Я сапоги в иидустрею вложил, рубашки лишией не изиосил, а оиа — медячки... конфетки свои туда несла. Ребячью радость отдавала. Пусть они, музеи, поймут сперва... Поймут — куда идем, через чего шагаем и чему жертвуем.

А посмеяться мы и сами... Сошлепаем голенищу об голеиищу. «Вот ои, иаш цениый «зверь-кирза»! Оно и по-домашиему, и министерству загадано, и душе юморно. Ценнющий зверь... хе-хех... Забайкальских степей... хе-хех... Ефим еще раз взметнул сапожишки и собрался освободить трибуиу.

— А поблагодарить-то! — зашикали на него старшие возраста.— За трактора-то!..

— Вот тебе и с голенищи...— испуганно забормотал Ефим.— Говорил — бумажку иадо!

Командир полка между тем шептал что-то иа ухо начальиику штаба. Через миiнуту тот попросил тишииы и с расстаиовочкой сообщил:

— Чтоб могла увидеть Татьяна Алексеевиа, какой гусар у нее Ефим Григорьевич, приказал командир полка... выдать ему со склада... пару хромовых сапог!

— Ура! — взревел не своим голосом Жора.— Урр-а-а-а! Качать дядю!

И полетел наш Ефим под немецкие небеса. С уханьем, с гиканьем, на дюжих размахах да повыше!

— Потрох...— задыхался он.— Потрохи, ребята, растеря-ю...— Вместе с ним взлетели — пара на ногах, пара в руках — четыре его кирзовых сапога. Далеконько эти сапоги было видно!

— ...Вот так-то, Аркадий Лукич! —повернулся Левушка к ветерану-соседушке.— Так-то вот люди про свои сапоги понимали. А теперь случай возьмем, Пауэрса этого, с первого выстрела... Сверзяйся, архангел, отереблivать будем. Кто тут, думаешь, наводящим был? Она послужила. Кирза.

Левушка сошлепал себе по голенищу и продолжал:

— А насчет таблички ты говорил, так я тебе вот что доскажу.

Побывали мы как-то в замке у одного немецкого генерала. Генеральского, конечно, там и духу не осталось, а старичок, служащий его, не убежал. Любил картины и остался их оберегать. Он же нам и пояснения давал. Какие римские, какие голландские. Потом родовые портреты давай показывать. «Вот этот бывшему моему хозяину прадедом доводится — в таких-то сраженьях участвовал. Это — прапрадед — такому-то королю служил. Это — прапрапра...» Чуть ли не до двенадцатого колена генералов.

В другом зале пистолеты, сабли, каски — доспехи, одним словом, всякие по коврам развешаны. Там же, замечаю, громадный бычиный рог висит. Серебром изукрашен, каменьями. Заинтересовал он меня. Что за трофей такой. Если Тараса Бульбы пороховница, то почему без крышки, если на охоте в него трубили,— почему мундштука нет, отверстия. Спрашиваю. Оказывается, что?

Один из прапрадедов у «русской» родни гостил. А родня в нашем мундире, в генеральском же звании,

на Кавказе в то время служила. Ну, гулеванили, с князьями куначились. Куначился, куначился гостенек и допустил на одной пирушке недозволенную Кавказом шалость. Княжну ущемил или что... Ну, народ горячий! Развернулся один чертоломадзе да как оглоушит прапрадеда этим рогом. Стратегию-то и вышиб! Остальную жизнь потратил генерал на то, чтобы каким-либо способом данный рог у кавказского князя выкупить.

Видал, как родословную берегут? Даже чем их били, и то к семейным святыням приобщают! Так без футляра и висится... Вот и думается мне, Аркадий Лукич, что не будет большого греха, если я действительно оставлю «племю младому» поглядеть да пощупать, в какой обувке ихние прадеды по рейхстагу топтались. Остальное на бронзовой табличке можно вытравить. Подробности всякие. Мол, жил этот прадед в кирзовый век. И был он... чудной он человек был, между прочим. С бусорью чуток. Непостоянный, суматошливый!

Покует, покует — повоюет.

Ситцы латал, а на ремнях дырки прокалывал.

Дарил любимым цветы и сухари.

Пел возле люлек военные песни.

Пушного зверя: соболя, выдру, котика — «налетай ярмарка!» продавал, а голомехого «кирзу» — ни за какие жемчуга! Сам носил.

И вот вам его натура — видимость и образец — кирзовые мои сапоги. От них и прожитому мною нелегкому, суровому и гордому веку названье даю — кирзовый. Был такой героический на заре да в предзорьях... Не рота — держава в них обувалась! И в пляс, и в загс, и за плугом, и к горнам, и за полковым флагом.

Кругом победили! Ефим хоть и поостерегся, а стоять нашим сапогам в музеях, повыше, может, всяких мономаховых шапок стоять.

1963 г.



КОСТЯ-ЕГИПТЯНИН

Стояла тогда победная его часть в немецком одном городишке. И чем-то этот занюханный, как прабабкина табакерка, городок знаменитым слыл. Не то обезьяну в нем немцы выдумали, не то какой-то ревнитель веры здесь в средние века зачат был... В доблесть городу даже то выдвигалось, что однажды на параде державный кайзеров конь воробушков местных облагодетельствовал. Против ратуши безошибочно почти историческая пядень асфальта указывалась. Народ немцы памятливый и всякую подобную подробность берегут и расписывают.

Под этим туманцем частенько испрашивали сюда пропуска заречные наши союзники. Особо по воскресеньям. Одни действительно поглазеть, другие поохотиться с фо-

тоаппаратом, а основной контингент — с сигаретками. С открытками тоже. Ева Евы прельстительней, дева девы зазывистей... Только натощак их в первую неделю после войны мало кто покупал. На галеты мощный азарт был.

В городишке все больше танкисты стояли. Горячего копчения народец. Одному белые пежины на лбу «фаустом» выжгло, другому пламенным бензином на скулы плеснуло... За войну-то редко которому из огня да в полымя сигать не пришлось. Испытали, каково грешникам на сковороде. Почему и песенку своему роду войск сочинили: «Танкову атаку для кино снимали» — называлась. Снимали, снимали — и все неудачно. Танкист, оказывается, повинней.

> Жора-кинохроник вовсе озверел:
> Снял меня сгорелого, а я не догорел,
> «Успокойся, Жора! — Жоре говорю.—
> В завтрашней атаке до дыминочки сгорю».

Вот так — со смешком да с гордостью... Безобманно душу свою нацеливали.

Костя с Кондратьем Карабазой из одного района призваны были, в одном экипаже числились. В злопамятное то воскресенье случились они в комендантском наряде. Патрулями ходили по городу. К полудню так пересекали они нелюдную одну улочку и привиделся им тут в канавке чемодан. Крокодиловой кожей обтянут, замки горят.

«Крокодила» крестьяне наши, конечно, не опознали — кожа и кожа, но, независимо оттого, у Кондратья трофейная жилка занервничала.

— Давай вскроем,— Костю подогревает.— Вот финкой замочки свернем и...

— И скажем — так было?..— давнул его взглядом Костя.— Не пройдет, землячок!

— Да не за ради шмуток, барахла всякого... Из интересу. Увесистый больно... Посмотреть...

— У коменданта посмотришь. Если допущен будешь...

Кондратий бдительно изогнул горелую свою бровь, и, не зная сего молодца, побожились бы вы, что взаправду испуганиым голосом, сам отпрянуть мгновеннем готов, своим видом и шнпом таинственным... разоставил он Косте такую ловушку:

— Тшш.. А ежель?.. А вдруг как он замнированный?! Смерть свонми руками понесем коменданту? Да лучше допрежде я сам восемь раз подорвусь!! Дай фнику — н отойди!

Раздвоил-таки здравый смысл старшине. Подстрекнул. Ну, сковырнули легоиечко фннкой замкн, откинули крышку и действнтельно спятнлись в первый момент. Череп на нных оскалнлся человеческий. Рядом с ним от ногн вертлюговая кость.

— Ничо — калым...— нспуганно переглянулся с командиром Кондратнй.

Когда осмелели, обнаружнли под этнми останкамн карты. Шестьдесят шесть колод карт насчитали. У каждой колоды особый отдельный футлярчнк нмеется. На футлярчнках, как потом комендант пояснил, англо-американской прописью обозначено: где, когда и у кого та илн нная колода закуплена н какая имеино нация с ней свой досуг коротала.

Вот н вся трофея.

Череп обследовалн — непростреленный. Кость тоже неповрежденная. Давние, пожелтелые...

— Посвежей черепа не нашлось,— сбрезгливил ноздри Коидратнй.

Пробормотал и отвлекся. Бубновых дам прннялся в колодах нанскивать.

Тут у нних опять разногласня возннкли. Костя торопнт: немедленно это добро к комеиданту снести... Не иначе, предполагает, заречный союзник какой обронил. Запрос оттуда может случиться. Прнтом череп неведомо чей. Может, уголовный какой?

Втолковывает так-то Кондрашечке, а тому — в одно

ухо влетело, в другое просквозило. Устным счетом занялся. Дам умножает:

— Шестьдесят шесть колод... По четыре дамы в колоде... Шестью четыре?.. Еще раз шестью?.. Итого... Двести шестьдесят четыре! Каких только шансонеток не нарисовано. С живых же, наверно, натуру писали? — рассуждает.

— А ну прекрати! — оборвал его Костя.— Засоловел опять! Шан-со-не-точ-ки... Давно ли тебе всем взводом медикамент разыскивали?

— Теперь уж и на бумажную не взгляни! — вздыбил губы Кондрашечка.

— И не взгляни!! Кабы ты не такой ядовитый был! Сын полка...

Сыном полка Кондратку за искренний маленький рост прозвали. Против Кости-то он — пятая «матрешка» из набора. Белобрысенький, востропятый, нос, что у поисковой собачки... Все бы он шевелился, принюхивал, обонял, раздразнивался. После, смотришь, бойцового гуся в танке у себя Константин обнаруживает.

— Откуда гусь?

— Бродячий циркач подарил. За пачку махорки...

— Поди-ка, ощеребить уж надумал? К «особняку» захотел?

— Зачем теребить? — зачнет выскальзывать.— Пусть живет. Почутко спит. Тревогу нам подавать будет. Зря, что ли, евоные прадеды Рим спасли?!

Строят в танковом парке клетушку для гуся.

На трофейной цистерне со спиртом как-то изловленным был среди ночи.

Тут уж не Костя его опрашивает:

— Зачем? Почему на цистерну взобрался?

— Дедушка у меня лунатик был.

— Ну и что?

— Ни одной ярмарки не проходило, чтобы он на чужой лошади не проснулся... Его и били, и к конским хвостам привязать грозились — не совладело. Деда на ло-

шадей тяиуло, а меия, иаследственно, должно быть, иа цистерну заволокло.

— А почему котелок с собой оказался?

— Прнгрезнлось, будто уздечка позвякивает.

— А гаечный ключ зачем?

— Подковы отиять. Дедушка, бывало, даже портяиками копыта кобылам обматывал, чтобы по следу ие пошли...

— Ловки вы ребята с дедушкой!

Все веселее и веселее ндет допрос.

Другому бы за такне проделкн с гауптвахты ие вылезать, а то и со штрафной ротой знакомство свестн — ои же словесностью отойдет. Такой вьюн, такая проиыра...

— Ну, кончай,— изъял Костя дам у Коидрашечкн.— Отогрел глазкн — пошли теперь к комендаиту.

Шагают... Медведь с горностайкой... У сыиа полка разговор — щебеток, слово бнсером нижется, а у Кости с перемогой, иеспешио, вроде бы по-пластуиски ползет. Оттого и немногоречив — лншний раз улыбнется лучше. Силушка нзо всех швов выпнрает. Правую руку иа локоть поставит — ниым двоим ие сломить.

— Думаешь, допустят иас к самому? — спрашнвает он Коидратья.

— Будь спокоеи,— загадывает землячок.— Пропуск у иас в чемодане.

— Не забыть про «вервольфа» спроснть.

— Спроснм. Чихнуть не успеет...

Про коменданта вели разговор, что правая его рука, почтн по сгиб локтя, из чнстой литой резииы сформована. В финскую еще осколком отняло. Но, иевзирая на частнчную убыль и трату, все равио строевым он и кадровым числится. В последиие дни ходнт по гарнизону упрямый и повсеместный слух, будто намертво н доразу захлестиул ои в одиом рукопашном запале резииовым этим изделнем нечистую силу — «вервольфа». Оборотия, по-иашему. Из тех чумовых, что и после войиы оружия ие бросили.

Из развалин постреливали, в подземельях таились.

Дежурный по комендатуре, как Костя и предполагал, попытался их не допустить к «самому» — тогда Кондратий череп ему показал:

— Тока лишь к «самому». Или направляйте нас в вышестоящую разведку.

Через минуту старший патруль Константин Гуселетов докладывал коменданту:

— Товарищ майор! При несении патрульной службы обнаружен нами в канаве чемодан...

— Мин нет! — заполнил Костину передышку Кондрашечка. Перебрал комендант содержимое, зубы черепу осмотрел, надписи на футлярах перечитал — сугубо себе переносицу трет:

— Мда-а... Кто-то крепко запасся,— на карты указывает.

— Так точно, товарищ майор! — цокнул проворненьким каблуком сын полка.— Кто-то войну тянул, а кто — «короля за бородку». Я в госпитале такого встречал... Бритовкой кожу с пальцев сводил. Козырей осязать... Блохе — переднюю-заднюю ножку опознавал. В меру ли суп посолен — пальцем определял!! Кожица...

— Я не про своих. Не про наших,— остановил его комендант.

— Ясно, что не про наших! — опять каблуком сыграл солидарненько.

Комендант поднял телефонную трубку и отдал команду соединить его с заречной комендатурой.

Танкисты и уши, как лезвийки, напрягли.

— У меня к вам не совсем повседневный вопрос,— заговорил с союзным коллегой своим комендант.— Скажите, есть ли в доблестных ваших войсках любители картежной игры?

— А через одного! — весело гнусит трубка.— А вы не партийку ли нам предлагаете, русский коллега?

— С удовольствием бы,— засмеялся комендант.—

С удовольствием бы, да недостойный я вам партнер. Рука у меня резиновая. Каучуковая...

Дает намек: не только, мол, передергивать, а даже тасовать по-людски не могу.

— Тогда действительно...— посочувствовала трубка.— С резиновой — неискусно. К чему же тогда разговор ваш затеян?.. По... Погодите-ка,— всхрапнула трубка.— Вы не про карты ли в крокодиловом чемодане?..

— Есть такой трофей.

— И череп цел?!

— И череп и прочая кость.

— Пфух... Пфух...— заотпыхивались на том берегу.— Магомет с плеч... То есть гора к Магомету, надо сказать. А мы уже всех собак собирались...

— А чьи карты? — интересуется комендант.— Штабные, музейные или шулера ловите?

— Тсссс...—испустила дух трубка. И далее — чуть слышок:— Вы про шулера иносказанием, пожалуйста... Зашифрованно... Ши-ши-ши, шу-шу-шу... Сделайте на шлагбаум распоряжение — он и будет владелец.

— Чин, значит. Шишка,— притиснул трубку левшой комендант. Потом снова поднял ее и отдал распоряжение на зональный пропускной пункт:

— Этого помимо утрешней заявки оформить.

Расспросил ребят, где найден чемодан, в какое время, почему вскрыт оказался.

— Думали: мина — «сюрприз»,— защебетал Кондрашечка.— Неужто нести непроверенный. У вас и так вон рука...

— А что рука? — как-то озорновато глянул на него комендант.— Рука — кок-сагыз.

После этого открывает свой сейф, достает оттуда парочку белых перчаток и опять же к Кондрашечке:

— Помоги-ка вот мне обмундировать ее. Впервые в белых перчатках воюю. Какую-никакую парадность блюсти приходится.

«Парадность! — усмехнулся Костя.— Знаем мы эту парадность! «Вервольфа» замертво... Не пикнул, сказывают».

С этой мыслью и подступил:

— А удар, товарищ майор... Удар этим коком-сагызом вы можете нанести? Говорят — из одуваичика сделан?..

Молодежь. Не понимает еще, что калеченому человеку про его калечество... Ущербляет всегда. Константин на «вервольфа» нацеливал, а выстрелилось по медведю.

Стоял тот со сморщенным пыльным иосом полуфронтом к дверному проему. Чучело. В лапах у него держался иссохший и тоже уже изветшавший пчелиный сот. По замыслу бежавшего прежнего домовладельца вроде бы меду входящему гостю он предлагает откушать или бы сладкую жизнь предсказывает.

— Удар, говоришь? — заприщуривался иа Михайла Ивановича комендант.— Из одуванчика, говоришь?

С этими словамн подходнт к медведю и иастораживает поперек пояснницы изобнженную свою правшу. Схватился здоровой рукой за резнновое запястье и — наоттяг его, иаоттяг. Какие-то пружнны под рукавом заворчали, крепежные ремни на локтю заскрипели, а он наоттяг все ее, наоттяг. Вроде бы на боевой взвод ставит. Дотянул до возможных пределов и отпустил. Сагыз в белой перчатке — ровно молния воссияла. И... гром! Мишутки иа постаменте как не бывало. Пылища на весь кабинет взвилась, моль на крыло взлетела... Стеклянный медвежий глаз от трех стен срикошетил — волчком теперь на полу поет.

— Вот так... наши одуванчнки,— погладил перчатку комендант.— Выставьте его вон от меня,— сробевшим парням на простертого Мишу указывает.— Двум медведям в одной берлоге не жить,— посмеивается.— Я тут некоторым военным срок гауптвахты определяю, а он, душа, меду подносит.

— Уставов не изучал,— продлил комендантову мысль сын полка.

Приподняли парни медведя и вот так, по-шутливому да по-хорошему, и разошлись.

Разошлись — забавляются. На постамент опять же медведя восстановили, окуляру ему наладили. «Во что бы еще поиграть»,— размышляют. Солдат — он ведь, часом, дитя. Немецкую каску рогатую на башку ему уравновесили, метлу с белым флагом в лапы пристроили.

— Парламентером, Михайла Иванович, назначаетесь. Союзника мы вам поручаем встречать.

У коменданта и окна настежь. Суточники с гауптвахты пыль выгоняют, моль настигают, пол протирают. С полчаса не прошло — вот она, глядь, и машина с американским флажком. Притормозила за колючими кустами-шпалерами и двигается по направлению Михайлы Ивановича с пузатой портфелью в руке владелец утерянных карт и костей. Такой громоздила мужик, что в самую пору бы вживе с этим медведем бороться. Румяный, упругий, лобастый — само загляденье союзничек. По званию американский майор. Танкисты примолкли, откозыряли. Он тоже — взаимно. Увидел медведя во фрицевой каске, с метлою и флагом меж лап — улыбку изобразил.

— Капитуляц? — танкистам союзнически подмигнул.

— Безоговорочная! — Кондратко ощерился.— Полны штаны...

— Э-э... Можете продавать мне эта фигура? — оглядел союзник танкистов.

— А что давайт? — потер троеперстие сын полка.

— Если вы есть хозяин на этот медведь?..

— Еще бы я не хозяин! Я на нем воду возил... Сено сгребал... В одной церкви крестились,— добавлял озорства Кондрашечка.

Танкисты смеются.

Союзник открыл тогда свой пузатый портфель и преподносит Кондрашечке пару бутылок каких-то вин:

— Выпивайт по малеиька.

— А куда вам скотинку прикажете? — обтисиул горлы бутылкам «медвежий владелец».

— Там... Машииа,— кивиул иа колючую заросль союзиик.— Там Джим...

В последиий момеит комеидант иа крыльце появился. Коидрашка к танкистам за спину. Сиикиул, укрылся — велика ль теиь ему, прокурату, иужиа. Военачальники представились, поздоровались, ушли в кабииет.

— Давайте его в машииу скореича,— пиул медведюшку в окорок иачииающий бизиесмеи.— Пусть везут остатиюю моль в свою зоиу.

И тут произошла у иих еще одиа удивлеииая встреча.

Шофером-то у союзиика — иегр! Чериый, как головешка. Или как крага таикистская. Глаза иа ребят вызвездил, зубы, что твой млад месяц, сияют, губоиьки за три приема ие обцелуешь...

Коидрашечка и про медведя забыл.

— Угиетеиный, а улыбаешься...— оторопел ои иа первый момеит. А оторопь отошла, озириулся с бутылкой, как с курой ворованиой.— У кого, ребя, иожик со штопором есть? — шепоток испустил.

Ну... Штопору как ие иайтись!

Ввиитил Коидратко его по заклепку, подиатужился — всхлипиуло, ойкиуло в горлышке. Огляделся опять, оцеиил безопасиость и смущает иегритяискую глотку:

— Дерябии! Оказачь маиеиько. Попьем, поворотим, в доиушко поколотим, век себе укоротим, морду искосоротим,— заприпевал.

Негр отрицается.

— Ты, может, подозреваешь — отравлеииое? — вывел догадку Коидрашечка.— Подозреваешь, может?! Гляди тогда, мать твою кочеты!!

Развериул бутыль доицем к солиышку, и загулял, загулял повдоль шеи востреиький, как соловушкии клюв, кадычок.

Отдышался. Отнюхался атмосферой. Глаза на место установил.

— Не хватало еще, чтобы пролетарь пролетарью яд подносил,— укоризну свою негру высказал.— Да я лучше сам восемь раз отравлюсь! Видел? Без трепету!!! Лопни моя кишка... Рвани для обоюдности?!— подсунул опять негру горлышко.— Интересно, пробросит тебя в румяны... черного...

По негру стало видно — колеблется негр.

А сын полка, ну... себя превосходит:

— У нас сам Пушкин от вашего негритянского колена примесь имеет. Позавчера на концерте артист евонную песню пел:

Поднимем бокалы и выпьем доразу,
И пусть побледнеет лампада.

— Во, как призывал! Свечи тухнули!

Обкуковал-таки, прокурат! Вдохновил негра.

Ничего. Без особого содрогания выпил. Остатнюю даже слезинку с лиловой губы подлизнул.

— Вот что значит — понятливую девку учить!!— соколком оглядел сослуживцев своих сын полка.

— Умри! Идут!! — даванул ему пальцы Костя.

Танкисты опять в позвоночники хрустнули, грудью взреяли, ладонь к шлемам... Кондрашечка за их спинами той секундою белым флагом медведюшку застелил.

Распрощались военачальники.

Комендант к себе воротился, ну а Косте с Кондратьем обратно на патрулирование надо идти. Час какой-то остался — и смена. Прямо от комендатуры косячок танкистов в одной гурьбе с ними тронулся. Про карты идет разговор, про череп...

— Столько колод — мать с отцом проиграешь.

— С которой же он войны, ежели желтый?

За угол вывернулись — что за причина? Стоят союзники. Оказалось, машина забарахлила. Рычит, скоргочет,

простреливает, а настоящего рабочего гулу не соберет. Негр ящеркой туда и сюда сиует. Свечи проверил, горючее шлангом продул — нет ходу. Танкисты окружили машину, советы негру маячат, на помощь посовываются.

Картежник нахмурился.

А наши, недолго подумав, с простой нелукавой души рассудили: «Поможем, братва! Берем ее нараскат». Ну, и кто плечьми, кто руками, кто грудью подналегли:

«Пошла, пошла, пошла, союзница! Пое-е-ехала-а!!»

А она не пошла. И не поехала.

Добра не сделали, а лиха накликали.

От конфуза ли, как ли, а только свернул картежник резиновый шланг в два хлыста и оттягивает шофера по чему попадя. Из носа кровцы высек, из губ. Мгновенно-то и взъярел. Без ругани. А негр не то чтобы от удара где извернуться, а даже не заслоняется. Улыбками повиняется. Улыбки под шланг подставляет.

Парни даже подрастерялись. Вчуже дико и зябко сделалось. У Кондрашечки зубы дрожью потропуло. И, невзирая, что росточком «сын полка», невзирая, что звание против майорского — вшивенькое, кинулся с двух копытц, выбодрил мелконький, пустяковый свой кулачок на картежника и беззаветно завыкликал:

— Брось шланг!! Брось, не то в нюх закатаю! Будку сверну!!

Ну и подскокнул.

Картежник ему на лету легонький бокс в подбородок. Как легонький?..

Спикировал Кондрат метров несколько и недвижим лежит. Не то — в забытьи, не то — в праотцы... Тут Костеньку и приподняло!..

Оно еще с богатырских времен запримечено: нет сильному большего постыжения, как если на его глазах слабых-маленьких бьют. Совесть его угрызает нейтрально при этом присутствовать. Хоть в чистом поле такое случись, хоть на вечерках, хоть на уличном происшествии.

А тут — удар, да еще удар с поднамеком. Сшиблеи Кондрашечка, а пощечнна всему братству горелому. Не то — и выше берн...

— А барнаульскую бубну пробовал? — ринулся Костя к картежннку.

И открылась здесь межсоюзная потасовка.

Картежннк, похоже, с приемов бьет, а Констаитин «бубной». Тоже славио получается. Как приложат который которому, аж скула аплодирует. Ровио по иаковальне сработано.

— Еще не все таикнсты погорели!! — веселится и сатанеет иа весь околоток Костенькин клич.

Слава богу, потронул у негра мотор!

Прянул картежник от Кости в открытую дверцу и воткни, боже, пятую скорость.

Кондрашечка кое-как воскрес до присеста, поместил на асфальт ягодички свои, трн зуба, одии за другим, иа ладошку повыплюиул и завсхлипывал:

— Ко-о-онского даже веку ие прожили...

Констаитии иосовые хрящн прощупывает и единовременно свежую гуглю под глазом исследует.

— И как это я промахиулся? — спрашивает таикистов Кондрашечка.

— В закоие, Коидрат, в закоие... Одии иа одни Костя вышел, мосол на мосол. Пусть не пообидится, союзиик. А ты промахнулся, ясное дело.

Через полчаса нз заречной комендатуры звоики.

Требуют нхней выдачн. Малеиького и Большого.

Оказалнсь иашн крестьяне на гауптвахте. На родиой. На отечествеиной.

* * *

— Яровитый ты человек,— рассматривал Костя через однн глаз обеззубленного Кондрашечку.— Кто, вот скажи, кроме тебя, трофейного медведя мог запродать? «Что давайт?» — сразу. Внно увндал — слепая кншка, подн, вскукарекала?

Кондратий молчал.

— И почему тебя завсегда вперед батьки за сердце куснет? — медленно, по-пластунски, допекал своего подчиненного старшина.— Я бы мог заслонить негра — и прав, как патруль. Даже забрать мог их обоих. Комендант разобрался бы... А ты — «в нюх». «Будку сверну!»

Кондратий молчал.

— Теперь вот доводят: неправильно я тебя воспитал. А сколько, вспомни, я тебя пресекал, сколько предупреждал? Как самоблизкого своего земляка! И за гуся. И за цистерну. Как, скажи, тебя можно еще воспитывать?

— Правильно ты меня вошпитал! — шепеляво взревел Кондрашечка.— В нашей шлавяншкой зоне, на твоих глажах, тот же наглый фашижм мне под шамые нождри толкают, а я внюхивай?! А я — шделай вид — отвернишь?! Я, жначит, не видь, как пролетария иштяжают? На кой тогда в танках горели?!

— Это ты в цилиндру, Кондраша,— обласковел сразу Костя.— Мне еще что жутко сделалось... Видал ты, чтобы наш офицер мордобоем солдат учил? Повинного даже! Штрафника? Уголовника? А тут своего водителя — как скотину. Кулак не хочет марать — шлангом. А он улыбается... раб, улыбается.

— Жапретить им проежд в нашу жону! — подхватился Кондрашечка.— Рапорт командующему!! У наш тоже центральная нервная шиштема ешть.

Так закончилось злосчастное то воскресенье.

В последующие дни отовсюду на все голоса защищал Кондратий Карабаза своего старшину. Подслушает у «волчка»: начальство какое-нибудь в коридоре или в дежурке басок подает, и огласится гауптвахта кликами:

— Правильно меня штаршина вошпитал!

— Не от улизливого телка произошли!!

— Шли в логово, а угадали в берлогу!!

Прослышали дружки-танкисты, что буйствует на «губе» сын полка, буйствует и непотребное говорит —

озаботились экипажи. «Эдак-то он еще на тощенький свой хребет наскребет». Зажарили гуся, того, что недавно из танка изъяли. Старый сибирячок насоветовал крутого макового настою накипятить и под видом всеармейского лекарства от «куриной слепоты» по две ложки ему выпаивать. Рассчитывали в сонливость его вогнать, в непротивление. Шиш возьми! Гуся за два приема прикончили, настой выпили, а клики по-прежнему.

— Танкист видит, кто кого обидит!

Костя зажимал Кондрашечке рот:

— Тише ты, тронутый! Орешь политику всякую... трибуналу в ухи...

— А, мамонька моя, мамонька...— бормотали под Костиной ладонью Кондрашкины губы.— А, сибирская ты вдова, Куприяновна... А почему я титешный ручки у тебя не скрестил... А почему в допризывниках ножки не протянул...

— Пригодятся ишо, пригодятся,— гладит ему обгорелую бровь Константин.

Отсидели по четверо суток — является к ним комендант.

Дежурный быстренько стульчик ему.

Сел. «Кок-сагыз» на коленку сложил. Помолчал. Потом вздохнул, как перед бедой, и открытый повел разговор.

— Не удался маневр мой, ребята. Сберечь на гауптвахте вас думал... В той уверенности, что за один проступок — одно наказание, согласно Уставу, положено. Почему полной властью и всыпал в поспешности. Но... Не вышло. Не вышло на сей раз по Уставу. Уж больно маститый нос вы пометили.

— Неужто выдадите, товарищ майор? Им?..— похолодевши, спросил Костенька.

— Здесь успокою. Не выдадим. Под трибунал пойдете. Меня с моей должности в отставные, а вам обоим под трибунал.

— А кто он такой, что и вас... что и вы из-за нас пострадаете?

— Отпрыск важной американской фамилии. В Белом доме известен. Не только военный чин носит — еще и дипломатический, департаментский. Неприкосновенность на него распространяется. А я, выходит, не обеспечил.

— А чего он тогда карты таскает, если неприкосновенный? Не знает, что шулеров в перву очередь бьют? И эти... шкилетины. Людоеду — сухой паек вроде...— огневался снова Кондрашечка.

— Ничего, оказывается, странного в этих костях нет. Я по долгу службы тоже поинтересовался. Тут такое дело... Невеста у него — англичанка...

Не все было понятно парням в комендантском рассказе. «Акции», «концессии» — все это неживое для них, чужое, далекое. Ясно стало одно: «картежникова» невеста наследует отцовские капиталы в Египте. Сейчас престарелый ее отец натаскивает себе смену — молодого вот этого бульдога, чтобы в отдрессированные уже клыки капиталы успеть завещать. Волк волка учит, акула с акулой роднятся.

— Был он, наследник, недавно в Египте,— теперь уж дословно, понятно рассказывает комендант.— Сообщил, раскопали тамошние его друзья могилу неизвестного фараона. А поскольку невеста его древности всякие обожает, прихватил он ей в подарок парочку этих мощей. По ребру, по звенышку скелет растащили. Теперь, говорит, в нашем фамильном музее древними пахнуть будет. Возможно, говорит, данный череп на горячей и знойной груди знаменитых восточных цариц возлежал. Сочинит биографию... Карты тоже для коллекций скупает. Более трехсот комплектов уже у него.

— Теперь еще нас, пару валетов, наколол,— всхлипнул Кондраша.

— Это тебя сыном полка зовут? — переменил разговор комендант.

— Меня. Для зубоскальства. Шутейно,— откровенно признался Кондрат.

— Если бы шутейно,— задумчиво потер подбородок комендант.— Если бы только шутейно... Прослышали, что требуют вашей выдачи, едва по машинам не кинулись. Объясняться пришлось с экипажами.

Кондраша заплакал.

— Все мы сыны полков у своей Родины,— погладил ему вихорок комендант.— Она и обласкает. Ей и розгу в ладони. Матерью ведь зовем.

* * *

Председателем трибунала седенький подполковник перед парнями предстал. Согбенного уже роста, а румянец живой, крепконький. Бородка белая, клинышком. Вдумчивая, прислушливая бородка. Какой-то негласной надеждой танкистов она присогрела, доброта в ней какая-то «дедушкина» проглядывала-намекалась. И настолько дотошно и терпеливо, всей своей искренней сутью вникала она и «слушала дело», что Кондратий «четвертым членом трибунала» про себя ее окрестил. Даже надежно и мило было, что такая понятливая бородка судит тебя.

Предоставлено последнее слово.

Кондрашечка — где-то щегол, говорун, горлодер — здесь, когда участь его молодая решается, семи подлинных слов не собрал:

— Ежели бы он негру не бил...

Костя тоже не больше того произнес:

— Ежели бы он Кондратья не троиул...

Проморгнул пару раз голубыми глазами — еще больки в себе разыскал:

— Я же его,— на Кондратья указывает,— я его под Старою Руссой, как дитенка спеленутого, беспомощного и беспамятного, из танка вынял и вынес. Зачем же он его,

маленького, со всей дурной силы? Разве стерпимо мне?

Стоят обесславленные. Ни ремней, ни погонов на них. Полинялые гимнастерочки, в недавнем огненном употреблении бывшие, с темными звездастыми дорожками поперек груди... И... свеженькие подворотнички.

Сказали по слову и взоры свои на бородку: «Суди».

Сдрожала. Не совладала сама с собой, беленькая:

«Сынки!! Отчизны спасители!! С молоком Революции питали мы вас понятиями и класса и братства... С пеленками Революции, с первым ситчиком дарили мы вам гуттаперчевых негритенков, китайчат, эскимосиков... На первой бумаге печатали «Хижину дяди Тома»... Теперь вот... Кого и за что я сужу?»

Пронзают, пронзают бородку совестливые токи... Нельзя. Нельзя расслабляться бородке. Союзные и иностранные корреспонденты в зале суда. Сычи да вороны... Щеглы газетные... А главное — помимо всего, состав преступления есть. Выпито было. В наряде. Считай — на посту...

Удалился суд...

Возвратился суд...

«Встать!»

Ну и... «Именем...»

Кондрашечка и на следствии, и на суде неоднократно просил три вышибленных своих зуба «к делу подшить». Как вещественные доказательства. «Ежели мы ему нос сместили,— следователю доводил,— за нос с нас взыскивается, то вправе мы предъявить встречный иск — за зубы. Конского веку не прожили... В цацки я ими буду играть, да?» — протягивал следователю ладонь.

Так весь процесс и носил их, родимых, в горсти. После зачтения приговора взял, ссыпал их на зеленый стол трибуналу и обратился к поникшей угрюмой «бородке». Для укора или для подбодрения своего и «бородкина» духа обратился — кто его знает, Кондрашечку.

— Отошлите их маме моей, сибирской вдове Куприя-

новие. Адрес у вас известен. Пусть рассеет их на девятой грядке от банн... Пока я отсиживаю — из них еще три Кондрашки взойдут.

Вокруг трибунала невесть каким слухом, незнамо чьим зовом до сотни танкистов стянулось. Надеялись — освободят, не засудят ребят, а их выводят опять под конвоем. Одна боевая судьба-голова тихонечко шлем с себя стронула... Вторая... На остальных стрижка зашелестела... Молчат экипажи. Тяжкодумно и указненно молчат. Куда повели боевых побратимов... И кто-то, копченый чертушко, все же не выдержал. Надо же было каким-нибудь способом распрямить, уравнять ребят, живу душу в себе горю ихнему объявить.

— Еще не все танкисты погорели!! — настиг черношлемных понуренных арестантов их удельный, бронесказуемых, железной судьбиной и огненной пыткой сработанный клич.

В сорок первом году, из геенны дней первых войны, выкричал его, огрозясь, упреждая врага, догорающий первый танкист — Неизвестный и Вещий.

Потом назывались фамилии. По фронтам. Корпусам. Бригадам. И сочинялась песня.

Успокойся, Жора! — Жоре говорю,—
В завтрашней атаке обязательно сгорю.

И горели. И обугливались в черные головешки по гремучему полю Родины. Но опять и опять, иссушая гортани, до последнего содрогания беззаветного русского сердца, до божьего обморока, выдирался тот клич из раскаленного смрада пылающих танковых башен, извивался и косноязычился в жуткой предсмертной угрозе растресканных губ, в неизломном и яростном скрежете зубов, в страстотерпстве живого по глотку огня...

Нюхал бог нашатырный спирт.

Пахло богу поджаренной шкуркой.

«Еще не все танкисты погорели!!» — завинчивал люк над заклятой своей головой безусый колхозный парнишка.

«Еще не все...» — натягивал черные краги седой коммунист-генерал.

И опять рассекал фронты, замыкал «котлы» неистребимый и грозный, с бессмертием самим породнившийся, клич.

Выше несут свои черные шлемы два арестанта.

Не отнять, не сотмить их вчерашнюю жаркую славу.

«Спасибо, копченый чертушко, брат... во броне».

* * *

Есть такое присловье... Про солдатское горе. Солдатское, мол, горе — до барабана живет. Спорить не будем. Горе, может, и до «барабана» — а вот обида, наглая и невзыскаиная, по смертный твой час многолетствует. Затаится таким потайным кремешком, заминирует душеньку, и, спаси тебя бог, не косись невзначай. С пуховой перины сдунет, как перышко, со сладкого женского плечика вихрем сорвет. Все, как у Кости и случилось...

...В лесных проушинках и на жаворонячьем чистополье майской обманкой пылает, зеленым огнем молодая веселая дерзость отавы. У проселков-дорог дружненько гонят сочную нежную поросль послеукосные клевера.

Тихий блеск от всего.

Сверкает выхоленным пером грач, тоненько искрит паутинка, ярой медью сгорает неотболелый еще березовый лист, тускнеет черными бликами отглаженный зеркалом лемеха пашенный пласт — даже стерня лучики испускает. Позабыло усталое солнце улыбку свою, и дремлет улыбка на тихом просторе земли. Призадумалось небо. Призадумались поле, воды, леса...

Заяц на клевера выскочил.

Серенький...

Встал на задние лапки и смотрит на Костю, стрижет оживленными ушками.

Замедлил пришелец шаги, сместилось дыхание:

«Ты ли, дивонько? Ты ли, живой глазок?» Сел. Суеверно ластился взглядом к зайчику.

...Утром, чуть свет, увозил его дедушка Лука Северьянович по этой дорожке, вдоль этого поля, в военкомат. Родных у юного Костеньки, кроме дедушки, не было. Ехали — корень с отросточком. Молчком ехали. В последний прощальный момент почему-то частенько случается: есть что сказать, да не знаешь, как начать. Причинной ниточки нет. Такой, через которую ростанное слово твое подловчило бы высказать. И чтоб не с маху оно, не по-обушьему, а в тропиночку.

Колесо у телеги повизгивает — не та ниточка... Супонька ослабнула — тоже не та. Так и молчали, пока вот такой же пушистый ушканчик на клевер не выскочил.

Поднялся на задние лапки, ушами округу «прнчул», потом умываться начал. Клевера отягченные, росные... Обкупнет туда лапки и обиходит резаную свою доблестную губу.

— Нашего сельсовета зверь,— как-то обласкованно указал на него кнутовищем дедушка.

Миновали ложбинку, на пригорок Буланко вскарабкался — стоит малый зверик, смотрит в Костенькин след.

Дедушка так же — тихо и ласково:

— Спомнивай его, Костенька. Последен, кто тебя проводить проснулся. Он... ждать тебя будет.

Косте, юному, как-то неловко, устыдчиво речи дедовы слушать: «разнеживает, как маленького» — на старика подосадовал.

— Была нужда — вспоминать,— шуршит самокруткой.

— А ты не грубняинчай! — укорил его дедушка.— Нельзя тебе этого... Спокаяться можно. Заяц — он тоже... На одних полях с тобой взрос. Живой глазок Родины. Вот не сей ли момент одним воздухом вы подышали? Он выдохнул, а ты вздохнул. Ты выдохнул — он причул. Из груди в грудку! Воздух — он достигает!..

«Пророк ты был, дедушка...»

Когда выводили хирурги таикиста из забытья, на самой-то тоненькой грани мерцающей яви и темной пучины беспамятства вставал этот зверик на задние лапки и начинал разговаривать с раненым Костенькой.

«Дохни! Еще дохни! Еще!» — упрашивал, требовал серенький, отзывая померкшую Костину душу из бездны предсмертия на людское, на заячье солнышко.

Дрогнут веки, осмыслится взор — подевается зайчик. Сестра с кислородной подушкой стоит:

— Дышите, дышите, больной.

...Отглатывает пришелец стеснившийся в горле комок, дивится щемящему светлому таинству слез...

«Живой... глазок... Родины...»

* * *

Тем же вечером обсказал он деду Луке Северьяновичу бесталанный и горький свой поворот судьбы и немало был подивлен, когда старый без вздоха, скорби и соболезнования вдруг заявил:

— А все-таки здорово иностранная разведка работает!

— Ты... к чему? — растерялся Костя.

— Неужто не достигаешь? — усмехнулся Лука Северьяныч.

— Нет! — помедлил с ответом Костя.— При чем тут разведка?

— В том-то и дело, что бдительности в вас еще — кот наплакал,— безоговорочно заявил Лука Северьяныч.— Никакой он был не английский зять, никакой не дипломатический чин и не картежник, само собой, а был промеж вас натуральных кровей шпион.

— Ну-у-у, дед! — все больше дивился и озадачивался Константин.— Наговоришь!

— Ты мне не нукай, а слушай,— постановил дед.— Пошире твоего бороды есть. По какой вот, ответь мне,

причиие крокодиловый тот чемодан, с остатками фараона н картами, в каиаве мог очутиться? Ну? Шурупь, шурупий...

— Утеряи был.

— Под-ки-нут был! С у-мыс-лом,— четырежды проколол пальцем воздух Лука Северьяиович.— С умыслом! А умысел этот в том состоял, что обязательио отиесут эти диковииы к комендаиту. А у комеиданта в кабииете медведь. Вы, полоротые, мечтаете,— он вам меду подносит, а он... У него самопишущая машиика виутрях потрохов была засекречеиа. Близко вы возле бдительиости ие иочевали!

Все просториее открывался у Костеиьки рот: не узиать деда, и баста. Обличьем все тот же почти: по-прежиему крутоплеч, в кирпичиом румяице скула, иос узорией багряной жилочкой испещреи, дымчатая борода, кулак со слесариую наковаленку. Обличье — родиое — дедово, а беседа...

— Комеидаит говорит, а машинка фиксировает, он секретный приказ отдает, а оиа регистрирoвает... Теперь прицель... Подкииут чемодаи и доставлеи к иему, к комеиданту. Осталось заинтересоваииому шпиеиу, в майорском или картежиицком образе, явиться якубы за остатками фараоиа и картами и попутио с этим сторговать иеиавистиую комеидаиту медвежью чучелу. Им ие чучела, век бы моль ее ела, им тайиописиая запнсь цеиы ие имеет.

Первые петухи опели дедово изголовье, вторые — ворчит, ворочается.

— Не иосы дуроломом контузить — чучелу отбивать иадо было!

На второй только день стало ясиым для Кости, по какой такой неравнодушной прнчине «бдительиость» дедко его оседлал. Участковый Митрий Козляев, спасибо, растолковал.

— Ну и жук же ты, дедо! — затормошил Коистаитии старого Гуселета.— Почему ж ты от внука награду скры-

ваешь? — бороть деда начал.— А я уже напугался. Думал, ты шизофреник какой сделался.

— Отпусти, отпусти, кобыляк! Ишь, клешни-то... Железо мять... Утаил потому — тебя опасался обидеть. Горел, ранетый, а награды сняты. Зачем мне в рану со шкарпионом...

Дедушка крякнул достойно и непоспешно полез на божинцу. Иконок на ней не стояло, украшала ее замысловатая фарфоровая сахарница. Голубка сидит на гнезде. Через секунду лежало перед Костей новое орденское удостоверение, а в голубкином беленьком гнездышке сиял, излучался орден Красной Звезды.

— Вшизахреник не вшизахреник, а вот...— взвесил на ладошке Звезду дедушка.— Состоял я во время твоих боев в трудармии. Работал на нумерном секретном заводе. И упоймал я там, одной темной ночью, крупнейшего фашистского диверсанта. Проявил бдительность и отважность, за что был им, гадином, ранетый в грудь. Выздоровевши, работал в отделе по повышению и обострению бдительности. Тут промашку изделал. Конкретна, чуть опять же не задушил одного итендаита военного. Смотрю, моторы мелом размечает... Ну я... по подозрению... За калтык опять же.. В рабочую команду по этому случаю переведен был

— А чего же не носишь? — перенял Звездочку Костя.— Положил под голубку, думаешь, еще одна выпарится?.. На грудь, на грудь ее, деда! И грудь корольком!..

— А разведка? — притаил голос дед.— Она не дремит! Она рабо-о-отает! Живо опознают. Гля мстительности...

Костя фыркнуть готов:

— Да кто тебя опознает? В отстающем колхозе живешь...

— Не лопочи пусто-напусто. Я все ихни коварные приемы в отделе том изучил. Мстительность им — превыше всего! По библии работают: око за око... Кому хочешь

яду подмесят. Цыганистый калей есть,— шепнул Лука Северьянович.

Разуверять и умалять дедовы подозрения, сторожкость Костя не стал. «Да простится годам твоим,— думает.— Большого подвига ты не совершил, да и вряд ли когда совершишь... Твори свою причуду».

* * *

По теперешним суматошливым боевым временам, едва ли кого удивишь тем, что иная невеста, их таких — миллион, на пороге своей неминучей любви по разным служебным, учебным и комсомольским причинам отдельно от мамы живет. Завладеет такая дыханием твоим, наколдует бессонницу, научится пульсом твоим на расстоянии управлять,— вот тут-то и обсядут соловьи да жар-птицы твое изголовье. Прежде всего на стихи волокет человека. Едят в это время худо — карандаш грызут. Один такой, ушибленный, нецелованный, первотрепетный, до какого восторга дошел! «Губы милой — как бабкин квас» — строку возлюбленной сочинил. Другой — тоже управляемый на расстоянии — «пчелиными грезами», «пчелиными оазисами» те же самые губы воспроизвел. Какую-то, видно, тайную сладость предчувствуют, ну и, соответственно, угибают. Шейка — «лилия», щечки — «яблочки-ранетки», груди — «два белых барашка» — оснащают свою избранницу. А что за «специя» — тещенька? Какая оскома ко сладостям этим тебе уготована? — не знаем того мы, не ведаем и даже существование ее подозревать в наш изжажданный час не хотим.

И вот тут-то, на перво-последней ступенечке загса, и приобретает мужская влюбленная единица... кота в мешке приобретает.

Костя тоже себе приобрел. Да такого, что деревенские стратеги, сваха, кума плюсом ворожея, до сих пор утвер-

ждают, что ие иначе как через тещу сделался он Египтяиином.

Выпахивал ои на поле картошку, а пятиклассиики со своею учнтельиицей собнрали ее в бурты.

Имя учительиицы расслышал.

Ребятншки-то беспрестаиио: «Елеиа Васнльевиа! Елена Васильевиа!»

«Леиушка, зиачит» — лицо ее рассмотрел.

И оиа потянулась. Солярка заблагоухала, мазут не вспугаиул, даже повседневиая грядь под механизаторскими иогтями иичуть не смутила.

Все искупила тнхая, застенчивая Костенькииа улыбка.

Дедушка первый схватнлся, что иадо бы сватью на свадьбу затребовать.

Малопонятное получнли от сватьн письмо:

«...коиоплю и сурепку в последиее время колхозы повывели, зериа в страие иедостаточно, и полевой жаворонок Карузо стал сбнваться и делать в распевиых коленах помарки. Зато дрозд Балакирев на одинх сухарях да рябние такой росчерк в фииале обрел — душа пламеиеет и воскрыляется».

Винзу шла припнска: «Прнехать ие могу. Погублю птиц».

Ленушка кратеиько пояснила «птнчью» эту завнснмость: редкне н цениейшие экземпляры у матери. Чуть ли ие каждый певучнй самец композиторскнм нменем иазваи. Скворец Алабердыев, чижик Фреикелев... Иностранцы есть. Косте-то всякая эта подробиость — без смысла. Ослепшн, оглохиувшн ходит... Мозолей от счастья ие чувствует. А деду, на здравый-то ум, иевнятно и подозрительно сделалось:

— Птнцыолог какая-то,— отозвался о теще.— Едннственииая дочь замуж рыскует, а у нее от дрозда душа нссякает. Не в шароварах лн он, тот дрозд, щеглует?..

Вот так и ие стало холостяка Константннушкн Гуселетова. Дом у деда просторный, свету в нем — с трех

сторои горизоита. Да еще Леиушка! Накоиец-то искреиинм русских духом запахло здесь. Полы чистые, заиавески иа окиах, половички появились, сапоги мужики иачали в сеицах снимать. Что ни говори — бобыли жили. Самой-то живоструечки — рук, да глаза, да жеиской песеикн — и иедоставало жилью ихнему.

Начал Лука Северьянович прнучать молодую иевестку корову доить. Леиушка — с превеликнм усердием. Даром что, кроме мамииых певчих птиц, ии за кем не ухаживала. «Сииеиькнй скромиый платочек» приспособнлась под коровой петь. Корова разиежится, осоловеет, вымя расслабит, уши повяиут, глаза истомлеиные сделаются — хоть поцелуй ее в эту мииуту.

«А я, страмец, неудобьсказуемым иа коровеику, страмец»,— любуется этой умильиой картииой Лука Северьяиовнч.

На летних каиикулах поехала Леиушка собирать свою маму в Сибирь. Сама-то оиа, иевестушка, по институтскому распределеиию здесь оказалась. Думалось — времеиио, а тут Костеиька. Надо и мать к костру.

— Сииеиький скромиый плато-о-о... Стой! В рога и копыта...— мучается в пригоне с коровой Лука Северьяиович.— Привыкла под «лазаря». Я тебе ие Сульжеико!

Приходит однажды с удоем и, не процедив молока, не распутав цветастого Ленушкиного передника, затенвает такой разговор:

— Робею я, Костеиькии. Как запредчуйствую, что вот-вот птицыолог у иас на пороге предстаиет, как запредчуйствую — в животе захолоиет. На шпиена груддю пойду, а тут пятый угол высматриваю.

— Наладится, дед! — бодрит его Костя.— Никто иас не съест!

— А Балакирь с Алабердыем? Ошшебечут на прах! Найдут, в каком боке печенка. Пустяковое и просмешлнвое, саркыстичецкое это заиятие — птнчки-синички... Притчу в дом завезем, шутовство.

— На-ла-адится!

Наступил безысходиый тот трепетный деиь. Костя по телеграмме на станцию выехал, букетик цветов в школьиом саду для встречн настриг, а Лука Северьяиович как взобрался с утра на сеиовал, как залег иа душнстую кладенку свежего сенца-подлесовиичка, как затеял зевать — аж взвывает по-песьему, тонеиько, аж ускулья в шарнирах хрустят.

После полудия дохиула у его родового крыльца сииим дымом машнна н возникиула нз шоферской кабины высокая статная жеищина с вольнодумным каким-то пером иа соломеииой шляпке.

— Ннчо — фельфебель! — подлизиул пересохшие губы Лука Северьянович.

Чемоданов и узлов была самая малость, зато клеток со птицами...

— Пять... Шесть...— подсчитывал проволочные обустройства замаскнрованный домохозяии.— По трудодию иа клюв?.. При ныиешием трудодне...

Из-под крыльца, из засады, вызвезднла иа беспечиых пичуг душегубские очи свои троешерстная кошка Маиефа.

— Кончился твой суверьнитет,— посочувствовал кошке Лука Северьяновнч.

И иачалась в его доме веселая, звоикая жизнь.

На исходе же первого дня разыграл, распотешил Балакирев-дрозд местного участкового милициоиера Митрня Козляева. Завндел за окном промелькиувшую его форму с околышем да как выдаст-повыдаст заполошиую мнлнцейскую трель свистка. Ровио на пятах у преступиика он наседает, ровио весь остальной гарнизои иа подмогу созывает.

Ворвался Козляев в непрнбраиный дом — лицом бел, пистолетко на взводе.

— Кто свистел?! — детективиым взглядом обвел всех.

— Не вы первый, не вы первый,— заулыбалась на-

встречу ему прнезжая гостьюшка.— Прнсядьте, пожалуйста, я вам кратенько объясню...

— Кто свистел, я вас спрашнваю?! — не колебиулся Козляев.— Откуда сигиал подавался?

— Он свнстел,— указала сватьюшка иа Балакнрева.

— То нсь — как? — помутнлся Козляев.— А свисток ои где взял?

— Ои не в свнсток свистел, а талантом, нмнтация птнчья... Поинмаете?

Тут Балакнрев зобнул воздуху да как даст опять эту класснку.

— Де... Держите меня четверо! — поместился на табуретку Козляев.— Позвольте опомииться... За обнаженное оружие прошу нзвииеиня. Вот насекомый! — восхнтнлся сражениый Балакнревым Козляев.

— Не вы первый впросак угадалн,— опять улыбается Костнна тещеиька.— Прежиий его владелец,— указывает на Балакнрева,— напротив почтн пешеходной дорожки жнл. Постояиио там милицноиеры дежурнлн. Беспрерывно свнсткн, задержания. А дрозды — они перенмчнвые, подражательные. Освоил вот, как изволнлн слышать, ваше коленце. Через это он мне н продан был. К прежиему-то владельцу н соседн дверн выламывали, н мнлнция тоже врывалась. За бесценок избавнлся.

— Й ворвешься! — подтверднл Козляев, с нескрываемым дружелюбием разглядывавшнй Балакнрева.— У иас, в сельской местиости, свистеть ие прниято. Руки обычным прнемом завериу — весь и свнсток.

Виедолге вынужден был Лука Северьяиовнч курочек овдовить. Петух проголосиый был, жнзнелюбец. Орет по любой погоде.

Первым Алабердыев-скворец довольио явствеино петушниую втору вымучнл. За ннм дрозд поперхиулся. Вроде осень бы, ие певучее время, а у инх потягота.

Софья Игнатьевиа и голову мокрым полотенцем стянула.

— Неможется? — участливо спросил Лука Северьянович.

— Этот петух — семнкаторжиын!..

Пришлось зарубить.

Маиефа, бедиенькая, столько пинков опознала, что у иее даже иа дикую пташку рефлекс иачал в лапы вступать. От жуланчика опрометью, вскачь, иеслась.

А Лука Северьяиовнч, гроза диверсаитов, чему ни подвергиут был? Чем только ии угождал! И муравьииые яйца иа зиму томил, и сурепкиио семя искал, н коноплю иа задах шелушнл. Одиого лншь ие мог обеспечить-добыть: затхлой, слежалой муки. Птичьи черви в ией, в затхлой, прекрасно разводятся.

— Таки годы были — жмых не залеживался,— оправдывал ои перед сватьей свою иевозможность.

— Коичился наш суверьнитет,— только кошке и всхлнпнет.

По субботам баньку обычио топили. Северьяныч, сибирская кость, до вступления экстаза, до днчалого вопленья, до клнкушества пару себе иагнетал. «Ого-го-го шеиьки! Улю-лю-люлю-шеньки!! — веником себя истязает.— Дай-дай-дай-дай!!» Полчаса эти лешевы клнчи из баньки ликуют. Криику квасу потом опрокииет с нстомы, причешется, струйка к струечке бороду набодрит н сияет погожим челдонским румяицем своим.

Смотрит, смотрнт Софья Игиатьевиа иа иего, дюжего, помладевшего, и ие вытерпит вдруг — восхитится:

— Ну и гемоглобииу у вас еще, Лука Северьяиович!

— Кого? — не поймет тот мудреного слова.

— Красные кровяиые тельца это,— с удовольствием сватьюшка объясняет.— Снлы жизненные... в ребрах у иас вырабатываются. Поглядитесь-ка в зеркало — какой Стеиька Разии оттуда выглядывает.

— Ничо себя чуйствую,— троиет ребра Лука Северьянович.

И пуще того его краска пронзит.

Смущался старик.

Еще то примечал: иаладится у него со сватьей согласие — тут и Костенька тещеньке мил да пригож. Разладится — жди-ка, Ленушка, маминых свежих попреков да слез.

— Завезла в бирючиное королевство... Неужели бы я тебе жениха-европейца ие выбрала? Я бы тоже могла за уральский столб замуж выйти. Ни души и ни иервов... Тонкости никакой. Осмысляй, анализируй, чего мать говорит, пока детский садик ие возрыдал.

— Чего мие анализировать, мама? Люблю... Верю ему. И душа у него чуткая, совестливая. Никакой ои не столб.

— Чуткая, говоришь? А кто жаворонку зобы пожалел? Балакирева по иосу кто щелкиул?..

— Да ведь ие ради птичек мы живем?

— Не знаю, как вы, а я — ради птичек. Всю жизнь — ради птичек одних. Того-то не постигаем, что птица — дитя самой радуги. Первопеснь мироздания!

И поведет от восторга к восторгу.

А заключит так:

— Имею я право хотя бы иа птичью любовь и привязанность?

— Имеете,— пояснил ей однажды Костя.— Спаривайте ваших «композиторов», а Леиушку ие смущайте. Она вам не птичка, хотя бы и ваша дочь.

В иеподвижиости все это выслушала. Голова в оскорбленной и гордой позиции замерла. Ладони сцеплены, губы подковкой свериулись.

Через недолгое время подвернулся ей способ отмщения. Не по специальиому умыслу, а одно обстоятельство ее к этому подстрекнуло.

Прослышала, что появился в школе магнитофон. И записывает звуки, и тут же воспроизводит. И зазуделась у иее честолюбивая идейка одна в удалой голове. Явилась к учителю физики и с первой же попытки, за

первый присест ощебечен он был, меценатством его заручилась.

— У нас, птицелюбов пяти континентов, в Москве, в Доме птицы и на Птичьем базаре, состязания назначены в этом году. Чей воспитанник больше колен отобьет. Сама я присутствовать там не могу, а вот записи песен желательно мне отослать. Виднейшие птичьи арбитры их будут прослушивать. Это не петушиный вам бой между Курской и Тульской губерниями... Другого порядка... У меня не все птицы, конечно, достойны, но дрозд Балакирев мог бы претендовать. У него и почин, и раскат, и оттолчка, и россыпь, и росчерк — душа отторгается. Не птица, а какая-то божья свирелька, какая-то тайна лесная поет.

В дальнейшем — о магнитофоне:

— Через сутки-другие — верну.

Научил ее физик, как пленку вставлять, как включать, выключать, записывать и проигрывать, вверил магнитофон.

У Лены экзамены пододвинулись, у Кости — разгар посевной. Лука Северьянович в шорницкой. Или в поле с шатерком, перепелов кроет. Сватьюшка его в это мероприятие втравила. «Поймайте мне, Северьяныч, белого перепела. Альбиносного. Вдохиовенный у него бой!» Вот и ловил.

Поначалу, как и задумано было, птиц записала. А потом — лукавый-то подтолкни — зятюшку увековечила.

Тот умученный после двухсменки явился. Кое-что похлебал и в сенях на холстинке прилег. Когда разоспался, она и насторожила у беспечного его изголовья магнитофон — и, конечно, техника в быт.

— Послушай! — вечером Ленушке предлагает. Голос прискорбный, измученный, угнетенный изобразила. Доходяга душевная.

Включила магнитофон, и зажурчал, заклекотал задушевный, матерый, жизнерадостный Костенькин храп. Не-

которые периоды плавио выводит, апогей с перигеем прослушивается, а потом вдруг угасится начисто звук, перемрет ненадолго, да как распростается — ровио пускач кто в иосу рванул.

Тещеиька возле леиты сидит, леита крутится, а оиа разрисовку дает:

— Арарат обвалился. Во! Во! Храпоидолы в рукопашной сошлись.

Дождется еще одной даровитой иапрягиутой иоты — еще расшифрует:

— А сейчас с пещериым медведем схватка. На заре прогресса действие происходит.

Леиушка иедоумевает:

—. Что это за страииая запись, мама?

Прямого ответа ие поступает:

— Тсс. Во!! Танки справа! В укрытие!!

— Какие танки, мама?

— Такие... Проиграй эту докумеитальиую запись в народном суде, любой мало-мальски гуманиый судья расторгиет и аинулирует... С первого же прослушивания развод предоставит. С печеиегом живем...

Дошло накоиец до Леиушки.

Вскрикнула, кииулась неиавистио иа магнитофои и в клочки эту ленту, в клочки. Потом в слезы да в беспамятство.

У Софьи Игнатьевны юбки от оторопи засвистели. Водою ее отбрызгивает, виски ей перцовкой смачивает, уши кусает дочерине. В чувство бы привести.

— Ты меня не дослушала! — голубою слезою окатывается.— Это в ием силы клокочут, жизиеиные... Объем груди извергается... Породите мие виучека! До каких пор могу я с птицами?! Поневоле всякая пустельга в иителлект заселяется.

Вот такая малина цвела. Вот откуда и заумь такая возникла, мол, не стало таикнсту ии свету, ни дыху от вздориой и взбалмошиой тещеиьки. Отчего и в Египет

хотел убежать. Сваха да ворожея, говорю, известные полководцы.

* * *

На самом же деле случилось — пошли Костя с Леной в кино. Как обычно, журнал поначалу показывали. Учения танковых войск. И видит вдруг Костя воочью, во весь-то экран, видит Костя дружка своего, командира «тридцатьчетверки» Алешу Лукьянова. Майор Алешка! Реку его машины форсируют! И не надо Алешкиным танкам мостов и понтонов. Словно скорые умные раки, ползут они по дну реки. Только рокот, могучий бронесказуемый рокот! Не дышал, на экран глядя.

Вернулись из кино — молчком разобрался, заранее веки сомкнул. Лена чего-то мурлыкает, ластится, а Костя недвижим, безгласен лежит. Алешка все мнится. А не вместе ль они, колхозные пареньки, перводерзкий пушок над губой постоянно, для форсу, мазутом пачкали. Надышишься сладкой соляровой гарьки — и повлекла, повлекла тебя молодая надежда. Каждая звезда куковала, самое радугу плечьми подпирал. Некто поверхностно видит и думает — старшина на пушечный ствол, ноги свеся, присел покурить, а это совсем и не старшина. Генерал это. Или выше бери. Мечта наша, пташка, куда не дерзает.

«Десять классов — кровь с мого носа — закончу,— цедит дымок старшина.— Воевал достойно, броневую службу люблю... Таких, молодых-неженатых, в любое училище: «Милости просим». Старые-то кадры пыхтят вон...»

И в самом деле — пыхтят. Инспектирующий генерал на подходе.

Прянул с орудия пред ним старшина — не то бог молодой, не то черт холостой.... Из-под темных бровей сини кремни искрят, белей, чем у молодого волчиньки, зубы, от погона до погона — четыре перегона. Козырнул. До-

ложил. Пояснил. Благодарствован был — «Служу Советскому Союзу!!» — зазвенькало серебро на груди. Каждая звезда куковала. Самое радугу плечьми подпирал.

Некто, с простой души, думает, старшина тут присел покурить, а тут — академик сам, бронетанковый! Мечты наши, пташки... Прихлопнул вас крокодиловый чемодан, подыграла вас фараонова кость. «Сколько же Алешке лет теперь?» Перепутал его подсчеты голос из репродуктора. Передают заявление правительства... «Египет стал жертвой агрессии...»

Косте вроде бы старострельную рану потронули: «зять английский» припомнился, картежник, союзничек. «Погоди, погоди... Египет? Он же там фараоновы кости взрыл? Капиталы там, комендант говорил! Совладеет Суэцким каналом?»

Вслушивается в радио и, как ясновидящий, мнит: «Там акула! Там вол-ча-ра... Кус египтяне из пасти вырвали!»

И еще сторожит ухо тоскливое слово — «жертва»: «Кондрат твоя жертва, я твоя жертва, теперь — Египет. Народ целый!» — сыграл желваками.

День за днем, час за часом — солят, вередят газеты и радио по Костиной ссадине, по сукровице. Сообщают, что англо-французы бомбардируют Египет, силой пытают отрезать Суэцкий канал, что используется уже американское оружие...

«Там! Там акула!» — поджигается с каждым сообщением Костенькина обида и месть.

Потом — дивно! «Английский зятек» измельчал, уничтожился, как-то сникчемился. Египет завоссиял, побиваемый. Ничто перед горем его Костенькина скула, с синей гуглей, и танковая академия — не потеря, и трибунал забываться стал. Одно нестерпимо — малых бьют. Малым с колен привстать не дают.

Тринадцатый день Египет в крови и в огне.

Тринадцатый день неславно на отчей земле далекому

русскому человеку. Вот так, наверно, когда указняется совесть, и ходит Россия на Шипки. От родных пашен и скворушков, от малых детей и возлюбленных жен...

Ленушку не тревожит. Зачем ей, маленькой, его мужская сумятица? И одним вечером — официальное заявление. Смысл тот, что если наглое избиение Египта не прекратится, то в Советском Союзе не будут препятствовать выезду добровольцев, пожелавших принять участие в борьбе египетского народа за его независимость. Утром стоял Костя перед военкомом. Прочитал тот заявление, полистал военный билет и чутку обескуражил парня.

— Рад приветствовать вашу решительность. Первым в нашем военкомате. Придется, однако, подождать. Нет нам пока прямых указаний. Где вы остановились — на случай срочного вызова?

— У Кондратия Карабазы.

— А-а-а... Это который раны винцом потчует,— усмехнулся военком.

— Достойные, стало быть, раны,— откликнулся Костенька.

— Добре! — протянул военный билет комиссар.— Если сегодня до конца дня не вызову, явитесь завтра в девять ноль-ноль.

Развернулся сибирский конек к Кондрашечке.

Известился Карабаза, что намерен немногословный, но каменный в слове его командир добровольцем пойти, сунул по соске-пустышке в губенки своим близнецам и ходом скорей к военкому.

— Меня тоже пишите. Кондратий Карабаза. Еще не все танкисты погорели!.. Три зубу не взыскано. Панихида не справлена...

Ответ получил, как и Костя: завтра в девять ноль-ноль.

Зима тот год ранняя стояла. Снега. Морозный денек — куцый. Однако достаточный, чтобы райцентру стало известно: танкисты едут в Египет. Заторопились на

Кондрашечкино подворье друзья-товарищи. И знакомые, и полузнакомые. На летних сборах встречались, на полигонах и просто в военкомате. У Кондрашечки фляга браги стояла. К имениннам крепилась. Откинул он полог в запечье, прислушал:

— Курлычет! — братве подмигнул.— Вчерась сахару добавил — как тигра всю ночь рычала.

Барана под этот случай прирезал.

К вечеру еще один в Египет решился. Этот из молодых. Только демобилизовался, новые танки знает.

Ну... Усидели бражку, умяли барашку — вызова от комиссара нет. Направились в забегаловку. Там восприняли. И задрожала, заколебалась в углах паутина.

— Все мы от одного танка произошли! От «тридцатьчетверки»!! — целует воодушевленный Кондраша пожилую буфетчицу.

Попоют, попоют — побеседуют. Про Египет, само собой, разговор.

— Птица феникс у них в поверьях есть. Сама себя сжигает и из пепла потом воскресает.

— Про птицу — сказка. А вот народу действительно приходится из пепла. Из крови...

По соседству с танкистским застольем директор местной конторы «Заготскототкорм» черева услаждал. Хмыкал он, хмыкал пупку своему, а потом плеснул гранатый стакан еще на «каменку» и на хмельных розвязах пронзрек:

— До чео... До чео народ хитромудрый пошел?! И на целину, и на велики стройки, и в сам Египет корячится. А нужен ли он тебе, Египет? — на Костю уставился.— Какая у тебя там болячка? У тебя другая болячка... Славушки жаждуем! Патретик чтобы наш пропечатали, фамиль вознесли. Весь тут и Египет.

Костя с лица сменился. Привстал даже.

Остановил его звонкий, словно на наковальне сыгранный смех. Оглянулся сюда, а здесь инвалиду юморно

стало. Изнемогает — хохочет. Аж рукав у фуфайки трясется, ходором ходит.

— Разве в такой шубе мыслимо? Да ты в ней, не доезжа Дарданелл, обовшивеешь...

А шуба на Косте — сибирских барашков мех. Фабричного производства, под черный блескучий хром выделана. Всего лишь неделю назад из сельпо ее Лена вынесла. Полгода яйцами отоваривала, дедко быка годовалого за нее же пожертвовал. На деньги не купить тогда было — к товарообмену колхозника поощряли. Для работы-то Косте и ватник был гож, а на люди, на мороз, кроме бобрика-ветродуя, одеть было нечего.

— Ежель в Египет, закосил бы ее инвалиду,— набивается однорукий.

— Правильно калека говорит,— поддержал однорукого Заготскот.

Напряглась забегаловка.

— Значит, мы для портретика,— сыграл скулами Костя.— Значит, славушки жаждуем?! Покупай! — в честь момента освободился от шубы.— Покупай! — протянул ее однорукому.

— Какая еще цена будет,— хищненько запустил владыку в меха инвалид.

— Восемьсот семьдесят девять рублей отоварено. Копеек не помню...

Кондратий вмешаться хотел, а потом оценил инвалида: чай, денег всего-то на стопку с прицепом. Еще потому не вмешался — позорный упрек всем им брошен. Не препятствует сделке.

Погулял по мехам инвалид, химикаты снаружи понюхал.— Отвернись на минутку! — буфетчицу просит.

После просьбы ослабил опушку у ватных штанов и извлек из нательного тайника пачку сотенных. Отслюнявил восемь бумаг:

— Держи, египтянин! — колокольчатый снова выдал смешок.

Кондрашечка теперь затревожился:

— Погоди, погоди, Константин!.. А в чем же на улицу? Мороз двадцать градусов, и в Египет еще бабушка надвое...

Отстранил его Костя.

Кондрашечка к инвалиду:

— Поимей совесть! Середь зимы раздеваешь... Морозы-то стоят! Цыган и то с рождества...

— Деньги без глаз,— голосисто журчит инвалид.— Они и на Северном полюсе тепленькие.

— Тогда отдай хоть фуфайку на сменку. Будь жельтменом. В одном френчике человека оставил.

— Это — пожалуйста,— скинул ватник с себя инвалид.— Бери на придачу. Эту и в Дарданеллы забросить не жалко.

Перелицевалися русачки для себя неожиданно.

Осматривают один одного: все ли подогнано. Никто не заметил — когда, в какой миг покинул свой стол Заготскот. Прогнусел, вонзил яд и извильнулся. Уполз на тихоньком брюшке.

Наутро бежали наши добровольцы по звонкому морозцу в военкомат. Рукавички у инвалидной фуфайки для Кости коротенькие, руки по саму браслетку голешенькие, пришлось для замаскировки собачьи мохнатки одеть. (Кондрашечкин дедко покойный носил, конокрад.) Военком его даже и не признал с первовзгляда.

— Слушаю вас! — очки протирает.

— Приказано было в девять ноль-ноль...

Вгляделся в него военком: доброволец это вчерашний.

— А шуба, позвольте, где? — спрашивает.

— Продана, товарищ подполковник. Я налегке решил. Там, говорят, жара неспасенная... В белых трусах, говорят, воюют.

— Мдя... Мдя...— смущенно отмеждометился военком.— Возможно, и в трусах... Только поспешили вы

шубой распорядиться. Нет мне пока никаких указаний. И, думается,— не будет. Думаю, поостудит горячие головы позавчерашнее заявление правительства. Москва говорит — не воздух, чай, сотрясает. Вот так-то, ребятушки. Рапорта ваши пока на столе, под руками у меня будут, а вы спокойно работайте, каждый на прежнем посту. Потребуетесь — немедленно вызову.

Потряс с благодарностью три отбронелых мозольных руки, и подались гусечком славяне не солоно воевавши. Военком еще раз, теперь с тыла уже, оглядел кургузую Костину фуфайчонку и длительно барабанил потом пальцами по стеклу.

— Мдя... Мдя... Век служи — век дивись. А кто ж это произнес, что русские долго-де запрягают?..

Танкисты меж тем совещались: как теперь быть. Инвалид, по словам диспетчера автовокзала, уехал уже в Казахстан. Сделку теперь все равно не расторгнешь, шубы теперь не воротишь...

А без шубы явиться домой куда как неславно, нелепо, конфузно и совестно. И в Египте не побывал, а уж урон в обмундировании. Ведь каждый досужий язык... Скажут: пропил, прогулял... Тещенька птицу наказывала... Губы опять подковкой свернет. А Лена, бедная Ленушка... Полгода яйца сдавала. Дедко быка не щадил. Худо, погано содеялось.

Костя даже на правительство разобиделся: «Съел облизня... Поплевал в кулак да на сквозняк его». Картежник в памяти нарисовался — того поганее на душе сделалось. «Второй раз из-за гада впросак попадаю».

Спасибо Кондрашечке. Пообонял он поисковым, принюшливым носом своим и вдруг встрепенулся:

— Пошли к Македону! Свой брат — танкист. Уж если не Македон, то и не бог...

Македон — офицер запаса. В миру — председатель райпотребсоюза. Сибирский купец.

— Выручай, Македон Федорович! Окончательно мы

погорели. Такой «фауст» нам поднесен... Шубу надо. Упаси от бесчестия наглого.

Обревизовали промтоварные склады, обзвонили недальние деревеньки — нет шуб. С подвоза их разбирают. Заранее отоварены. Сибирских барашков мех...

Ну как домой показаться, как вразумительно объяснить? Вон чуть ли не под экватором где-то идут, а в Сибири шубенку боец забодал. Протяни-ка сумей здесь причинную ниточку.

Купили, поверх телогрейки, непродуваемый плащ. Все-таки на «жельтмена похож», как изволил Кондрашечка выразиться. В собачьих, правда, мохнатках, пожертвованных. Хоть руки в уюте. Домой устремлялся подгадать ночью приехать. Не всякий чтоб глаз соблазнять. Перед дверью вдохнул обреченного воздуху, отворил и юловатым каким-то, несвойственным голосом не то домочадцам, не то «композиторам», здравия пожелал.

— А шу...— не договорила, повисла на шее Ленушка.

— А шуба где? — узаконила вопрос Софья Игнатьевна.

— Мобилизовали шубу,— криво усмехнулся Костенька.

За чаем подробненько все обсказал. Утешил как мог:

— У Кондратья барана по этому поводу съели и бражку... На именины и раны обмыть не осталось.

— Ра-зы-щет! Весь в конокрада-покойника,— попытался направить беседу в сторону пращуров дедушка.

Софья Игнатьевна, однако, «Заготскототкормом» интересуется.

— У него жир с рожи каплет,— подожгло опять Костеньку.— Жрет коровью печенку!..

— Наплюй! — неожиданно потискала Костину руку тещенька.— Честь наша с нами, а шуба перед ней — тьфу! Вижу не мальчика, а доблестного мужчину, дочь моя,— встормошила прическу Ленушке.

Костенька даже скраснел.

На этом домашние толки и кончились.

Агрессия тоже вскоре закончилась. Военком правильно рассудил: Москва не воздухи сотрясает.

Про шубу в домашнем кругу порешили не распространяться особо, а дедушка взял да и заложил добровольца. В колхозном правлении. Привсенародно!

— А все-таки здорово иностранная разведка работает,— свои соображения высказал.— Сопчили военным министрам, что сибирски ребята шубы распродавать по дешевке начали, у тех и в кишке стратегической холодно сделалось. «Продадут шубы да заделают нам египецко небо в овчинку...»

— Про какие ты шубы маячишь тут, дед? — наводящий вопрос ему задали.

— Дык... Костенька наш. Неспособно же на икваторе в шубе.

Заложил внука деревенскому мнению. «Египтянином» после этого Костю прозвали. И старый, и малый в момент подхватили, и начальство, и подчиненные, и в бане, и в сельсовете. Кончился Гуселетов. Живи теперь, Константин, иждивением народного творчества. Сочинится в мехмастерской перекур, и тут же чей-нибудь язычонка проворный отметится:

— А что, Костя?.. Взять бы тебе да и самому Гамаль Абдель Насеру рапорт подать? Неблагородно, мол, с шубой случилось. В фуфайке опять по морозу полкаю из-за своей солидарности. Неужто он тебе египетцку форму не вышлет?!

— Даже египецко звание может присвоить,— поспешает с горячей догадкой второй добросерд.— Фараон третьего ранга!

— Га-га-га...

— В фуфайке проходим,— ежится танкист.

Угнетал, подавлял его такой разговор. Незлобивый он и шутейный, а гордость твоя не приемлет. Пусть кума

полоротая, пусть ворожея, пусть самое что ни на есть худоязыкое полудурье, пусть даже понятливый человек и всегдашний доброжелатель твой, а коснутся сторожкого места в душе...

— Салют египтянину!!

— Страуса теще не подстрелил?

И тоже не без смысла. Кто на оглоблю вешался? Она. Кто просил птицу египетску добыть, коя с крокодилом сожительствует, в зубах у него ковыряется? Она!

Опостылело слушать. Кондраша Карабаза — тот походя отшутился бы. А Костя — тяжелодум.

Приспел отпуск, и собрался он якобы к другу на Волгу. На вторую неделю приходит оттуда письмо. «Жизнь наша, Ленушка, в корне меняется. Работаю на бульдозере, живу в общежитии. Поступаю в вечернюю школу. К весне, как семейному, мне обещают квартиру. Закончишь учебный год и скорей приезжай. Учителя здесь нужны. Буду ходить в твой класс. Пиши мне помногу и часто...»

До Нового года жили они перепиской, а в каникулы Ленушка разыскала его. Без никакой телеграммы на рабочей площадке явилась. Выскочил из бульдозера, отнял ее от земли, маленькую, и целует, целует живое румяное счастье свое над застывшей, студеною Волгою. Крановщики, экскаваторщики заприметили, видно, что белую заячью шапочку залучила чумазая Костина роба, залучила и носит по кругу, по кругу, по кругу... Как загудят — заревнуют мужья-одиночки. Ленушка уж отбивается от его поцелуев. В нос ему рукавичкой, в нос... А нос-то, вы, братцы мои, наисчастливейший!

Натвердо было обговорено: весною Елена сюда. Работа — хоть завтра.

Уехала заячья шапочка. В Сибирь, к дедушке.

И вот — полоса жизненная... Так настроилась — то передряга какая, то сюрприз тебе подлинный. Событие с событием сближается.

Получает от Леиушки телеграмму. «Приезжай, если можно. Мама выходит замуж Луку Северьяныча».

Поехать, поиятио, не смог — авральиое время на стройке гудело. Поздравлеиие послал. «И как это оио шустреиько у инх, старых, склеилось?» — ие перестает восхищаться.

А случай-то — ие нз ряда вои. Житейское дело.

Уехала Леиа иа Костиину стройку. Остались оии один иа однн с недомолвкамн прежними. Новый год настает. Дед Мороз с чудесами со всякнми ходит. Сндит после баньки Лука Северьяныч, отечественным сибирскнм румянцем сияет.

Маиефа мурчит, самовар ворчит. Балакнрев конопельку ест. Под снбнрское время рюмашку со сватьей прннялн. По московскому повторнлн.

— Ну и гемоглобиину в вас еще, Лука Северьяныч! На трех юношей хватит современных.

— Ннчо себя чуйствую...— подсекся голос у старого.

Наутро ои первым воспряиул — пора бы корову доить. Игиатьевиа сладко и мило «ягияткой пригретой» спала.

Фнлософствовал малость:

«Конечно, птнца, как ты с ней ие играй,— все птица. Одно чнриканье». А потом, через пару каких-то минут, смятенно гляделся ои в сонную сватьину грудь и почтн по складам, как лнкбез позволял, вчнтывался в зелеиые буквы наколкн:

— До-лой стыд...

Еще бдительио раз прочитал — то самое. Не вырубишь топором: «Долой стыд!!» И два восклицательных знака оттатунровано.

Жарко молодожену сделалось, смутио. Закрякал, заворочался, изломал золотую-то вдовью зореньку. Тут же, иа ложе греха, и допрос учинил. Ущнпнул за однн восклицательный знак!

— Это что за лозунга таковая?

— Это...— принялась отстранять его заскорузлые пальцы сватьюшка,— это еще в период нэпа... В Ростове... Организация у нас, у девчонок, такая была. «Долой стыд» называлась. Нэпманши, паразитки, и ихние доченьки в бархатах да в шелках мимо нас фигурируют, а наша прослойка — в сатиновых юбочках выше колен. Безработица нас угнетала, мануфактуры лишнего метра купить было не на что. Ну и, как вызов обществу, наколки вот эти... дурочки глупые...

— А это... Софья тебя зовут... Сонька — Золотая Ручка — не твой севдоним? В том же градусе куролесила....

— Этот мир мне далек и незнаем, Лука Северьянович. Мы вскорости девичий театр организовали.

— И кого же ты там представляла?

— Куплеты пела. Антирелигиозные... Попов искажали.

— Из деревенских баб наших никто не прочитывал это воззвание? — потянулся опять к восклицательным знакам Лука Северьяныч.

— Ну что вы! Я от Ленушки даже таю — одна в бане моюсь.

— И не моги!!! Спаси тебя богородица кому-нибудь этот афиш показать.

— Я сама уже целую жизнь за девичью эту глупость расплачиваюсь. Хоть кожу срезай. Ленушкиного отца постоянно смущало и коробило даже.

— И покоробит. Я сам вот сичас чуть в дугу не загнулся. Тут ведь вот что еще размышлять надо. Вот помрешь ты, к примеру... Придут деревенские бабы тело твое обмывать. Ну и что? Упокойница, скажут, а с чем перед анделом выставилась, на что намекает, чего завещает? Нет. Тут какие-то меры надо принять. Змея бы, что ли, по сему полукружью дорисовать? Или орлиные крылья вытравить?..

— Воля ваша, Лука Северьяныч. Я поэтому самому, может, вполжизни жила. Ленушкин-то отец... Не мог

примириться. Не верил мне тоже. Я полгода лишь женщиной пробыла... Ни ласки ничьей, и ни преданности...

Слезы крупные у нее навернулись.

Лука Северьяныч сладостный веред какой-то в предсердии своем ощутил, словно птенчик какой-то там отогрелся и выклюнулся. Задышал он взволнованно, жарко, во сватьино ушко:

— Не томись. Перепела тебе упоймаю... Белого... Токовика...

Обвилась-оплелась опять комлеватая плотная шея Луки Северьяныча жаркими белыми руками:

— Мне теперь семирадужного не надо,— лепетала.— Повыпущу всех. От вдовства, от тоски с ними баловалась. Воспоют пусть свою благодарность за грехопадение мое.

— Ну-ну... Уж растрогалась как. Ни холеры им не воспеть. Погинут. Неспособные оне к вольной жизни. Тут, кроме птиц, есть вопрос. Вдовство наше, по-видиму, кончилось и следует нам перед детями нашими и перед деревенским обчественным мнением в чистоте и законе себя соблюсти. Справим свадьбу. Объявимся всем. Корову ты научилась доить...

* * *

Костенька всякой подробности этой не знал. Откуда ему... Это между двоими. Вполголоса. Однако, по-честному если признаться, трижды и трижды благословил он дедов и тещенькин брак. Вся его жизнь прояснилась. Совесть его ущемляла, что дедушку бросил. Теперь он пристроен, ухожен, Лена от мамы тоже свободна, тещенька вроде бы на искомую колею набрела. Одна головешка в печи гаснет, а две головешки и в поле горят. Стратегики старики!

Приехала Лена. Работал желанно и всласть. Завлекала и зазывала работа. Плечи иной раз немели, пальцы

терпнули. Появилась новая песня о Волге. И была в ней строка такая: «Свои ладони в Волгу опусти». Костя ее на свой лад напевал. Не с притрустью и не с угасанием, а как побудку: «Сотвори ими, на Волге, своими».

Начинается это исподволь, постепенно, и вселяется однажды в рабочего человека сугубая вера, что нет на земле алмазов, равноценных честным мозолям его, что сам он, владыка пары рук, драгоценнейший камень в короне Державы своей. И сознает он тогда себя соленой частичкою рода людского, истцом и ответчиком века, подотчетным лицом за ребячью слезинку, за напряженный бетон, за слова на высокой трибуне.

На Волге получил Костенька первый «гражданский» свой орден. А по окончании строительства вызвали его в отдел кадров и попросили «подробненько» рассказать про судимость. Потом и про шубу. «Откуда дознались?» — дивится Костенька. Веселый рассказ получился. Кадровики с удовольствием выслушали.

— Ну а теперь как? — спрашивают.— Закрепла рука? Можете вы ею руководить? Не понесет опять... в самоволку?

— На ваших глазах живу,— ответствует Костенька.— Аттестат зрелости выдан. Не должна понести,— на кулак усмехается.

И предлагает ему отдел кадров поехать в Египет. Плотину строить. Строить одно, а второе, самое главное, говорят, египтян обучать там придется. Самостоятельно чтобы на наших машинах работать могли.

— О жене вашей тоже подумали,— говорят.— Многие наши специалисты с семьями едут. Школы там русские будут, детские садики.

Вечером пересказал он этот разговор Ленушке.

— Трогаем, египтянушка? — приласкал ее волосы.

Почему-то она раскраснелась. Смотрит тайно: то смелость немая во взоре мелькнет, то беспомощность, ласковость, нега.

— А врачи наши, русские, будут там? — чуть не шепотом спрашивает.

— Будут, конечно,— спроста отвечает. Потом спохватился:

— Погоди, Ленушка... Ты почему про врачей?.. Ты... Ты...

— Я!.. Я!..— зазолотнились слезинки.— Я, паразит такой! — И начала она колотить его по чему попадя.— Столб уральский! Чурбан! Эгоист разнесчастный!!

Поднял он ее на руки, мебель пинает, кошке хвост приступил...

— Ленушка! Ленушка!! — возгудает.— Неужели-то? Дивонько ты мое.

* * *

Стал наш Костенька действительным, всамделишным египтянином.

Дедко в деревне аж грудью хрустит:

— Сказано — сделано! В нашем роду трепачей не было. В мусульманы перейдем, а на своем постановим.

Однажды нащупал Лука Северьяныч фотографию в международном конверте. Пупок и кортик наружу, смотрит с нее на Луку Северьяновича молодой Гуселетов. Сватье внук, ему правнук. Через год с небольшим опять жесткий конверт. Сватье внук, ему правнук.

— Климатические условия способствуют,— с ученым видом пояснил он супруге.— В тепле каждый злак...

— Молодость способствует,— вздохнула Софья Игнатьевна.— Нас с вами хоть на Огненную Землю уедини, хоть на Камчатские источники.

— Ты брось господа искушать... Чего намекает?.. Да появись, ко примеру, у нас дите... Это кто будет? Это дед будет? Это дед будет Костенькиновым Ваське с Валеркой. Небывалое дело, чтобы дед младче внуков произрастал.

— Понянчиться бы, — вздохнула опять Софья Игнатьевна.

— Приедут вот в отпуск — понянчишься. А на меня не уповай...

Месяца через два после сего разговора известило их снова письмо. Костенькиной рукой писано. Смысл тот: если согласны вы, старики, приехать сюда погостить, выхлопочу вам пропуск. Пишите или телеграфируйте. После прочтения Лука Северьянович в сомнениях погряз, в тайных розмыслах. У супруги же пушок на губе ветры странствия тронули:

— Поедемте, Северьяныч! Древнейшая колыбель цивилизации! Контрасты всякие, экзотика. На верблюде сфотографируемся.

— Икзотика? Болезнь, что ли?

— Господи, слышим звон... Чудеса незнакомой природы это. Чужеземные пляски, свадьбы, игрища, останки фараонов...

Северьяныч во время таких непонятных слов и на «вы» начинал ее называть. По имени-отчеству.

— Попутного ветра вам, Софья Игнатьевна. Шесть фунтов под килем. Само время поехать. Соопчали — фараона там неженатого изыскали. Обвенчаетесь гля икзотики. Лучше верблюда уродище...

— Господи! Чего он трактует?! — притворно затиснула уши Софья Игнатьевна.— Как и не оскорбит только!

— Поезжайте, поезжайте... Птица феникс там есть... Раз в пятьсот лет прилетает. Нынче, соопчали, как раз должна прилететь... Муравьиных яиц только с собой захватите.

— Он невыносим,— принялась перцовкой виски себе смачивать супруга.— Пока способна душа удивляться... тьфу! Чего я... Внук единственный призывает! Правнуки ваши там!! Кулачками маленькими вас за бороду осязать...

— Так бы сразу и говорила по-человецки. А то — верблюды, игрища... Пусть в баню ко мне приедут... Покажу игрище...

Замолчал, заструил бороду и откровенно признался:

— Разведка меня сомущает. Опознает — таких верблюдов применят — позвоем матерым волчушкой. Там Митьку Козляева не посвистишь!

— Никакая разведка не затронет вас и не опознает. Мания это у вас, надуманная. Я бы на вашем месте специально орден для этого случая привинтила. Пусть видели бы Костенькины товарищи, какой у него самобытный дед. Исполнен отваги, достоинства, мужества — закоренелый, могучий, старосибирский дуб на древнюю землю пожаловал. И даме на геройский локоть достойнее опереться.

— Дубы-то у нас не ведутся, конечно,— начал склоняться Лука Северьянович.— Стало быть, привинтить, говоришь?

— Всенепременно! Египтяне вам честь будут отдавать как старейшему воину. Ваша суровая биография рядового сибирских полков всему свету известна.

Подольстилась-таки. Обкуковала седого кочета.

— Тогда вот что,— примиряюще крякнул Лука Северьянович.— Тогда груздочков бы надо молоденьких присолить. Костенька уважает. С разлуки его даже прослезить может. Из-под родимых березок душок...

— Перепел вы мой вдохновенный! — поспешный поцелуй ему в сивую заросль вонзила.

После достигнутого согласия отослали они международную телеграмму: «Ждем вызова».

На другое утро повесил Лука Северьянович корзину на локоть и пошагал по просторным березовым колкам. Грибки выбирал. По гривкам он толстенький, груздь, растет, упругонький. Как осос-поросеночек. Найдет запотелое в соках земных духовитое скользкое рыльце, осмотрит с исподу пушок, волоконца. Слезинку меж во-

локонцев старается углядеть. Коли гож, коль по нраву груздок — с ближайшей березки веточку сломит, обласкает ее тихим словом:

— Умница. В Египет листок твой свезу. Груздки твоей веточкой переложу.

Не по нраву — другой разговор:

— Самобытности в тебе нету,— укоряет груздя.— Иқзотики недостаточно.

Готовит их под посол, а они, как серебряные рублевики, светятся.

— Интересно, употребляют ли их мусульманы? — гадает по ходу дела.— Возможно, с отдельным компанейским веселым феллахом араки восхряпнуть назреет момент... Закусь-то! Под такую — всю международную ярмарку с копытов долой.

Усолели груздики, закупили старики в сельпо чемоданы, сговорили соседку доглядеть по хозяйству в момент их отсутствия. По первому зову, как говорится, готовы, а из Египта покуда ни весточки.

И вдруг телефонная вызывная. Через сельсовет. Приглашают Луку Северьяновича в райисполком. Одного. Без супруги.

Софью Игнатьевну такая неполноценность за сердце куснла.

— Надень орден! — настаивает.— В случае, если мне власти отставку затеяли, ты басом на них, на современную молодежь... С высоты подвига разговаривай.

— Ладныть,— пообещался Лука Северьянович.

Торопливо и уважительно усадила его секретарша. Извинилась, исчезла в соседнюю дверь. Через минуту вытеснился из нее Заготскот, за ним Македон проследовал. Приглашают Луку Северьяновича. Поздоровался с ним председатель, усадил со всей чуткостью.

— Как здоровье, Лука Северьянович?

— Ничо себя чуйствую. Борзенько еще.

— Сердечко не балует?

— Не чуйствую покамест.
— Дровишек, сенца заготовили?
— Дрова соковые ноне нахряпаны, сено под дождичком, правда, случилось.

Еще два-три «обиходных» вопроса — и приступил председатель к сути:

— Крепитесь, Лука Северьянович. Прискорбно обязан я вас известить, что внук ваш Константин Гуселетов отважно и самоотверженно погиб...

Наклонилась и замерла в голубой седине голова. Задавил короткое первое всхлипывание. Задавил и второе. Чего-то отглатывал долго. Молчал.

Когда изготовился всякую боль вместить, бестрепетно поднял взор:

— В сраженьи... случилось? Или... от техники?..
— Тут письмо нам, — развернул листки председатель.

* * *

...Отдел кадров, оказывается, не от праздного любопытства про руку — закрепла она или нет — вопросик ввернул. На всякое можно рассчитывать. Туристов-то в Египет не суздальским пряником зазывать. И пирамиды, и сфинксы, и храмы тысячелетние, и мертвые города, и те же верблюды. Софья Игнатьевна не обмолвилась, когда про них заикнулась. Для богатеньких старушенций предел молодечества на лежачего дрессированного верблюда залезть, а потом, когда он поднимется, улыбку потомству изобразить. «Вот она я — джигитка, в девятнадцатом веке зачатая». А иная еще и на араба взберется, дабы он ее на закукорках на Хеопсову пирамиду вознес. И возносит. За бакшиш — сам шайтан садись...

Наезжали эти туристы и на плотину. Не старухи, конечно, помоложавее контингент. Тут уж, нашего века

дниво. Свыше трех километров длина у нее спроектирована, на сто одиннадцать метров ввысь она прянет. Прямо к подножию аллахову... Одних скал подорвать, издробить, искрошить, переместить, в монолит их по новому месту сплотить — на семнадцать Хеопсовых пирамид наберется.

За день до роковой той секунды обучал Константин молодого феллаха управлять ковшовым экскаватором. Неподалеку от их пригорка облюбовала себе обзор белоштанная разноязыкая эта команда. С фотоаппаратами, с термосами, с биноклями. У Кости тоже бинокль в кабине висел. Поднес он его к глазам и заерзал, заволновался. «Английский зять» ему в толпе померещился. Заглушил экскаватор, и понесли его сами собой резвы ноженьки. Он! Он, враг! Чуточку постарел, но такой же румяный, тот же корпус борцовский, загорелый проем груди, кулаки, словно медные чушки. Повстречались глазами друг с другом и влюбились доразу. Взор ото взора отклеить не могут. «Эх, как оно бухает...» — почуял вдруг сердце свое Константин. Скулы окаменели, во рту подсыхать начало. Стоят в трех шагах, обжигаются ненавистью и немыслимо им своей волей сейчас разойтись.

— По кровь... или по кости? — выдохнул старый танкист.

— Оба хорошо,— шевельнул кадыком «английский зять».

— Опять в неприкосновенных?

Такое вот конкретное собеседование ведется. Туристы языка не понимают, однако видят — не про блины и не про пейзажи тут... Окружили своего попутчика, увели.

Костя к феллаху взобрался. Клокочет весь. Закуривать начал — спичку сломал. Феллах между тем зеленую муху в кабине ловит.

— Ты, парень, давай посерьезнее будь,— хмуро выговорил ему Костя.— Учись вот повдумчивее... Не то

припрягут тебя опять в пару к буйволу. Женят на мотыге... Отпрактикуют, пока ты тут мух давишь. Включай!

Наутро опять столь же хмуро и строго:

— Включай!

В километре примерно от нашего экскаватора, у подножия пустынных волнистых песков, высятся серые дикие скалы. На планерке оповещали, что в нынешний день, в указанный час, будут одну из них подрывать. Потом эти глыбы погрузят на самосвалы, и уйдут они в Нил.

Костенька закурил и придирчиво наблюдал, как справляется с рычагами и переключателями улыбчивый белозубый его ученик. До вчерашнего дня даже нравилась Костеньке эта улыбка, а сегодня раздражает, какой-то дурашливой выглядит, легкодумной.

— Скалишься много. Ворона в рот залетит,— нудил он паринишку.

Время от времени поглядывал на скалу, на часы, на пустынные знойные волны песков.

И вдруг за бинокль ухватился. На гребне песчаного свея, недалеко от скалы, бестолково метался из стороны в сторону египтянин-мальчишка. Петляет, прыжками сигает, к пескам наклоняется.

— Чего... Чего он там делает? — подсунул бинокль свой стажеру.

Тот присмотрелся, заулыбался. Про взрыв-то не знает...

— Змею ловит. Бакшиш хочет. Тот мистер... Вчера вы с ним говорил... Живая змея надо. Много ребят собирал. Бакшиш дает.

Костя наслушан был малость про этот змеиный промысел. Есть в Египте такие искусные семьи — из поколения в поколение змею добывают. По следам на песке, по полозу, по извивам определяют, какой здесь гад, из сотни пород ядовитого племени, брюхом своим тлена змеи-

ного коснулся, где затаиться должен, в какой точке в песок он ушел. Про одну династию даже в газетах писали. Натаскивал дед семилетнего внука, и жальнула того в мизинец ядом проворная змейка. Мизинец старик ему, не зажмурившись, тут же срубил, а как рана закрепла, опять на пески его вывел. Вот и этот теперь...

«Зачем ему змеи доспелись? — ненавистно представился в памяти «зять».— Коллекцию собирает или... тестю в коляску?»

— Поймает, скоро поймает! — оживленно подергивался увлеченный далекой опасной охотой улыбчивый Костин помощник феллах. Костя отнял у парня бинокль и снова вгляделся. Змея уходила к скалам, а следом за нею метался, добывал свой предсмертный бакшиш египтянин-мальчишка.

«Не увидят!.. Не увидят его из-за скал... Громыхнут!!»

«Телефон бы!..» — затравленно оглядел Костя окрестности.

«Тик-тик-тик» — отделилась от прочего мира песенка старых часов. Да еще сердце: «Эх, как оно бухает». Пружинисто тронул подошвами лесенку.

И побежал.

Сапоги его вязли в песках, заподсвистывала прокуренная грудь, застучало в висках.

«Хасана бы надо послать. Молодой... полегче...» — ускоряя шаги, попрекал себя Костенька. Тело высекло пот, взмокнул лоб, заструило соленым и едким в глаза. Протирал. Не потерять бы мальчишку... Попробовал крикнуть — не смог. Задохнулся. Распростерло его на песке — хватает, хватает обжажданным ртом горячий безвкусный и тощий, какой-то несытный воздух.

«Тик-тик-тик» — опять отделилась от прочего мира песенка старых часов.

Содрогает пустыню тяжелое, изнемогающее Костино сердце.

Видел Хасан:

Тяжко оторвалась с подошвы песков, в белых смерчах и дымных космах, серая громада скалы. На какую-то долю секунды зависла над горизонтом, задумалась, прежде чем рухнуть, и тогда-то — видел Хасан — от прорана, что между скалой и песком, от яростных смерчей и огненных косм летели в пустыню, сольнувшись, обнявшись, два перышка.

Два черных перышка...

И грохотала над онемевшей пустыней песенка старых часов.

* * *

Домой Северьяныч тащился пешком.

Радость на Руси — пташкой летит, в босоножках скачет, а горе — носят. Тяжко. Тихо. Безмолвно.

Беспечальны поля и покосы, равнодушны, спокойны леса, как вчера, как на троицын день, голубы небеса.

Ни состенания, ни сострадания извне...

«Не тебя ли он, поле, пахал? — молча вопрошает Северьяныч черные зяби и рыжие жнитва.— Помнишь, втаяла жаркая капелька пота его в твою истомленную черную ненасыть? Разыщи! Отзовись этой капелькой?.. Затепли ее тихой свечечкой?..»

Молчит его поле. Безответен укор.

«А ты, светлый лес?.. Неужто забыл?! — суеверно немтует, дозывается соболезнования Северьяновичева душа.— Ты поил его сладким и чистым, как соловьиная слезка, березовым соком... Не твои ли щавелька да ягодка росли в его плоть, не твои ль ветерки обдышали его звонкоребрую грудку? Напоили силой ее, первопесенкой... Озвонили твои золотые сторожкие иволги первотропки босые его, отряхивали твои хохотуньи кукушки волглые, росные крылышки над нерасцветшим подсолнышком его головы...

Зоревой журавелько твой! Горностайко, проворный и сильный, твой! Дитенышко твое!! Из крепей твоих изошедшая клеточка!! Дай хоть тихий стон? Хоть глухую молвь? Заропщи! Возгуди! Помяни Его!»

Немо вокруг. Ни состенания, ни сострадания. И только заяц на клевера выскочил.

За того, «соучастного», кто «последен проснулся» Костеньку на войну проводить, приняв его, тоскующий немо, доверчивый в горе своем, Северьяныч. Опознал. Стиснувшимся одиноким рыданием окликнул и распростерся — упал на обочину. Драл горстями слепыми траву августовскую. И прислушивал милый ребячий зверок скорбный человеческий ропот и зов: «Ох, заинко, заинко, заинко... Не беги, не скачь на горюч песок... Обожгет песок тебе лапоньки... Засорит песок твой живой глазок... Заметет песок золотой следок...»

Поднял его с обочины Кондратий Карабаза. Он, как прослышал про Костю, а следом и про старого Гуселета, что пешком тот в одиночку сквозь ночь и леса заупрямил идти, тем же часом вдогонку бежать устремился.

— Нету твоего командира,— затрясся на Кондрашечкином плече Лука Северьянович.— Совсем... Насовсем ушел... Под египетску землю...

— Еще не все...— начал было и оборвался на полуслове Кондрашечка.

Потом приближались они к деревеньке. На мостках через малую речку Сапожницу тронул Лука Северьянович былому танкисту плечо:

— В какой стороне Египет глядится?

Кондратий установился лицом в юго-запад.

— Там, дедо.

Смотрели в египетскую сторону.

— Велик твой бог, Костенька...— ослаб и сомлел снова голос у старого.— Велик бог у русского народа! И шубу... и самое душу!

— Укрепись, дедо... Укрепись!

* * *

Есть старые праздники — наши прадеды их еще праздновали, есть молодые торжества — сами с флажками на них выходили, но нет для живого солдата, присяги сороковых, другого такого гордого и щемительного денька, равноценного Дню его многотрудной Победы. На побледневшей от боли июньской заре был загадан он обескровленным шепотом гибнущих погранзастав, тысячу четыреста девятнадцать листочков календаря искурено было, пока в неисцветаемом мае не врубил его в Летоисчисление и камни солдатский поводырь — отомститель штык.

Собственным штыком сработан и заработан!

Гордые в этот День ходят по русской земле солдаты. Все одним гордые и каждый еще на особицу. Единого образца нет. Впрочем, с русского это и не спрашивается. Особенно с сибиряка. Этот народец черт, говорят, посеял, а бог полить позабыл. Самосильно, кто как, росли...

В двадцатилетие Дня Победы вывел Кондратий Карабаза своих близнецов на парад. Танкистские шлемы им из подержанных кирзовых голенищ пошил, огромные черные краги у знакомых мотоциклистов до полудня выпросил. Три пары их, близнецов, у него. Как ни увезет свою Катеринушку в родильное отделение, так и — самдва.

«Опять двойка!» — смешливые акушерки в проведки ему кричат. Ощерит свою нержавейку и скалится на весь райсовет:

— Трибуналу давал заклятье по Кондратию с каждого выбита зуба взрастить, а получается — икс плюс игрек. Катька такая попалась — с двумя неизвестными...

Последнего «икса» назвал он Кондратьем, второго братишку — Костенькой.

— Бессмертье должно быть,— пояснил смущенной улыбчивой Катерине.

По шесть лет им, последним, сравнялось. Кондрашечка командармом вышагивает. Малые дышут в спину отцу. Далее — покрупнее подрост, в черных кирзовых шлемах.

— А мать?.. Катерину-то почему в строй не поставил? — цепляют Кондратия разряженные насмешницы сибирячки.— Кто им манную кашу в походе будет варить? — ласково смотрят на младших Карабазят.

— Не из такого теста мои, чтобы за мамину юбку держаться! — задорит старый Карабаза «бабско воинство». И шире распрастывает кочетиную мускулистую грудь и козлеватее взносит начищенный свой сапожок.

Ленушка была вызвана военкоматом для вручения ей в этот день посмертно возвращаемых Костиных орденов.

— Идите в строй! — приказала она, побледневшая, Васе с Валеркой.— Это дядя Кондратий... Башенный папин стрелок. Из одного экипажа...

...За пирамидами, за оазисами, за миражами летели в пустыню два перышка. Два черных перышка...

Двое Костенькиных пристроились к Карабазятам.

— Бессмертье должно быть!! — приветствовал пополнение старый Карабаза.

Сияла на майском, победном, торжественном солнце святая и грешная его нержавейка.

*

1968 г.



*

ЧЕРЕМУШКИ—СОЛДАТСКИЕ ЦВЕТОЧКИ*

Я иа фронте все больше ожоги получал. И варило меня, и пекло, и смолило. Ну, об этом речь впереди. Начать же надо с того, что неправнльно меня воспитывали.

Родился я маленьким, рос мелконьким, грудь, что у зайчонка, столько же и силенкн... Тут что надо было? Закалять надо было меня всячески. К физкультуре поощрять, дух во мне поднимать, отчаянность воспитывать.

А заместо того собнрается отец на охоту:

— Тятя, я с тобой пойду?

— Сей мнут! Сейчас вот за патронташ тебя заткну и пошагаем.

Когда забраковали меня в военкомате, уставился он

* Из цикла «Сибирский клиеит».

жалостливым таким взглядом — вздыхал, вздыхал да и высказался:

— В кого ты, Аркадий, уродился? Сестры вон — хоть в преображенцы записывай. А ты... зародыш какой-то...

Оттого я и рос такой... виноватый. Неполноценный вроде. Зато, когда приказали мне на втором году войны «в десять ноль-ноль» с бельем, полотенцем и с продуктами в военкомат явиться, у меня чуть сердце не заглохло от радости. Через правое плечо поворот сделал!

Направили нас, свежепризванных, в военные лагеря Черемушки. Едем. «Че-ре-му-шки»,— раскладываю я по слогам. «Нежненько-то как!» — думаю. Представляются мне молоденькие такие, с прозрачной, чуть зелененькой корой, деревца, все в цвету, а запахах — белокипенные, кудрявенькие. Посреди этой природы — лагеря. Навроде пионерских... Только слышу-послышу их еще и «Чертовой ямой» поминают. Это-то название поточней оказалось.

Впоследствии на вопрос, почему Черемушки, взводный Ляшонок мне так разъяснил:

— Это намек солдату дается... Принюхивайся, мол. Черемушки-цветочки, а ягодки — впереди. Без обману чтобы...

В этих-то вот Черемушках и познакомился я с поварским черпаком, будь он трижды неладен. Направили наш взвод на подсобное хозяйство. Километров за шестьдесят. Задача — картошку из овощехранилищ на машины грузить. Котлы с нами едут, сковороды, прочая посуда... Палатки растянули — ужин варить надо.

— Кто может? — взводный Ляшонок спрашивает. Он у нас бедовый мужик был. Длинный, поджарый, лицом смуглый, верблюжьего цвета шинель на нем. Английская. В госпитале выдали. По самы пяты. Заглазно мы его звали «Чтоб я этого больше не слышал». Любимое изречение.

Ну, ладно... Поваров во взводе не оказалось. Прошелся он вдоль шеренги, да меня и облюбовал:

— Корнилов, кажется?

— Так точно, товарищ младший лейтенант!

— Назначаетесь, боец Корнилов, поваром!

— Я не умею, товарищ младший лейтенант. Отродясь не варивал.

— Не умеешь — научим, не хочешь — заставим,— говорит.— Притом и грузчик из тебя — наилегчайший вес. Одним словом, надевай халат, и чтоб я этого больше не слышал — «не варивал».

И проклял я потом не раз эту лихую минуту. Вся моя служба шиворот-навыворот отсюда пошла. На погрузке, верно, благополучно все обошлось. Картошки вдоволь. А это при третьей тыловой норме ох как вкусно! Наворочаю два котла, салом заправлю — хвалят ребята. Зато в период подготовки — погорел.

Отправляется наш батальон на трехдневные ученья. Без захода в казармы причем. Весь день и всю ночь перед этим дождь лил. Утром большой перестал — густой пошел. Мелкой капелькой... Строимся мы на плацу, а он до того рассолодел — воробей след оставляет. Ветер рвет. Собака Жучок к кухонному крыльцу бежит и хвост в нужной форме сдержать не может. Ломит его, гнет, зад из-за этого заносит. Аж закружится песик. Кое-кому такое зрелище направление мысли испортило. Бывалые, верно, молчат, а свежепризванные непорядок усмотрели.

— Мыслимо разве по такой погоде...— ворчат.— Добрый хозяин собаку... а тут — на трое суток...

— Это кто про собаку? — навострил свое чуткое ухо Ляшонок.— Кто собаку помянул, какой нации?

— Русская поговорка, русский, значит, и помянул,— невесело отвечают из колонны.— Ну, тут и турок помянет, не токмо что...

— Вот турок пусть и поминает,— отозвался взводный.— А мы — забудь! Забудь про собаку, ежели ты русский. Так-то, сынки...

Он, независимо от возраста, сынками нас звал.

— Забудешь тут... За воротник вон напоминает,— доложил кто-то из строя.

— Все равно забудь,— подытожил взводный.— Немец на Волге, река солдатской стала, а вы — про собаку... Отставить про собаку! Чтоб я этого больше не слышал! После войны — пожалуйста...

Двенадцать часов мы сквозь всякую грязь шли. По жидкой, по густой и по паханой. Полную выкладку несли, плюс к тому каждую ниточку на тебе мелкой капелькой напитало. Ужинали сухим пайком. Ночевать в поле,— по цепочке передали,— костров не разводить: «противник» близко. Греться по-пластунски и другим подобным способом. Ко всему этому, в порядке утешения, суворовское присловье: тяжело, мол, в ученье — легко в бою.

К полночи вызвездило, и принялся молодой морозец наши шинели отжимать.

— Грейся, как пресмыкающие греются! — раздается голос взводного. Он падает в длинной своей, до пят, шинели на живот и ползет. Ползет и приговаривает: сто метров туда — сто обратно. Сто — туда... сто — обратно.

Ну, мороз — он командир звонкий... Всему батальону Ляшонкову команду донес. Ползаем. Греемся. Кое-где ребята на «петушка» сходятся. Плечо в плечо сбегаются, локтями наддают. Тут же приемы «Лежа заряжай», «Встать!» изучаются, на спинах друг дружку взметывают — оживленно ночуем!

Неподалеку от меня два солдата разговор ведут, вроде сказки сказывают:

— Случись сейчас в нашем батальоне черт и спроси, например, у тебя: «Какого счастья в первую очередь хочешь?» — чего бы ты ему на ушко шепнул?

— А чего! Печку бы железянку... докрасна чтобы... Высохнуть. Согреться...

— К этому бы еще соломки сухой охапку. Ох и рванул бы!..

Впрочем, на темнозорьке некоторые и без соломки

ухитрились. И на корточках дремлют, и лежа — бочком, подбородок в коленки. Другие опять иоги шинельиыми полами запеленали, спина в спииу храпака дерут. Сорок верст как-иикак отчмокали. А морозец — свое... «Подъем» скомаидовали — такая рать воспрянула, куда там черти годятся. У одинх шниели пышные, в складках, звенят, гремят — что твои балерниы заприплясывали. Которые пеленались — вскочат и тут же хрусть об землю. В три слоя им на ногах сукио сморозило.

Отмяли мало-мало шнелишки, хлебушка с селедкой перекусили и по звоикой земельке где бегом, где форсироваииым шагом затопали опять к родиым Черемушкам. За восемь часов иадо было успеть вериуться и тут же с ходу пойти в «наступлеиие». Первые километры из ртов парило. Потом лбы задымились, спины, плечи. «Шире шаг!» — подбадрнвают комаиднры и тут же от Суворова... насчет пота и крови.

К обеду иебо опять седеть начало, синеть. И повалнл сиег, густой, лохматын, леиивый... Хоть губой его ловн.

Достигли мы иужного ориеитира, развериулись в цепь и давай коротким перебежками белую землю пятиать. Пороша тоненькая, липкая. А падать надо да снова бежать. На «ура» пошли — мокрее вчерашнего. Заиялн «неприятельские» окопы — отдыхай, ребята. Блажеиствуй. А в иих жидеиько, склизко. Топчемся с иогн на иогу. Мыслн какие-то разбнвчивые в недоспанную голову лезут.

Переступншь — чмокиет глиикой, отлетят бредни. Стонм.

А ветерок с севера заворачнвает, а индивидуальный палец у рукавицы, которым иа спусковой крючок нажимать, твердеть начинает, ледком подергнвается. Поземка закружилась. И ие в ногн она метет — в глаза солдатскне. Секет, пронизывает. Стыием, снеем, потряхивать нас начинает.

— Товарищ младший лейтенант, разрешите: сто метров туда, сто — обратно?

— Пока светло...

Это потому, что по темноте придут из третьего батальона разведчики. «Языка» у нас брать. Ползаем, в запас обогреваемся. Печку бы железянку, соломки бы сухой... Другого счастья нет.

Сейчас, бывает, встретишь обиженного такого, «несчастненького», судьбой недовольного и без ошибки определяешь: «А не бывал ты, паря, в Черемушках! Да, да... В тех самых, которые «солдатскими цветочками» назывались. Знал бы, какое такое счастье бывает! Поменьше бы высказывался».

Ну, ладно. Братва, конечно, на сей раз единогласно решила: повезло Аркашке. Вызвали меня к командиру роты, и получил я приказанье отправиться в глубину своей обороны, в распоряженне повара. Горячий ужин батальону готовить. Через полчаса я уже, что говорится, на седьмом небе был. Дрова подкладываешь — топка греет, крышку откинешь — паром тебя до глубины души прохватывает, а спиной к кухне прислонишься — тут уж вовсе несказуемо. Теплынь, и каша там, внутри, будто райская птица скворчит.

Поужинали поздненько. В двенадцатом примерно часу. Выскреб я с разрешения повара остатки каши в ведро, другое полненько кипятку нацедил — несу в свой взвод. Мысли у меня приятные играют. «Ай да Аркашка,— скажут ребята.— Вот это товарищ! И кашки спроворил, и кипяточку догадался. Сто сот парень...» И вдруг как секанут этого «сто сот парня» телеграфным проводом по ногам — сразу подешевел. Кипяток в снег, каша набок, самому — затычку в рот и руки-ноги опутывают. Опутали и потащили. Дышу я через нос и постепенно догадываюсь, что я теперь не Аркашка Корнилов, а «язык». И волокут меня не куда иначе как в третий батальон. Ну кому охота в плен попадаться, хоть бы и к своим? Задры-

гался я по возможности, заизвивался... А братишка из третьего батальона уставил мне кулачину под нос и поясняет шепотом:

— Свинцом налита, смертью пахнет...

Вот уж вижу сквозь поземку — через линию окопов меня переносят. И никакого окрика! Никакой тревоги! Перестал я уважать свой батальон. Так запросто отдать бойца на произвол «противника» — это не каждая часть сумеет. А произвол сразу же начался, как только окопы миновали. Во-первых, Карлушей меня назвали.

— Тих-ха!..— говорят.— Карлуша... Тиха. Погоди ногами скать...

По пути к тройке, которая меня захватила, прикрывающая группа присоединилась. Потом еще одна. И началось тут надо мной групповое издевательство. Поважит, повзвешивает который меня одной ручкой на веревках и выскажется:

— Бараний вес взяли...

Другой, после такой же процедуры, еще злей кольнет:

— Такого эрзаца под мышкой унесешь.

А братишка, который кулак мне подносил, тот вовсе конкретно:

— Где Гитлер? — спрашивает.— Сознавайся. Все одно твоя фрау заговела теперь.

И чем дальше от окопов относят, тем нахальней становятся. Не кладут уж, а прямо бросают. Как саквояж какой...

— Давайте,— рассуждают,— расшлепаем его в чистом поле, а кашку съедим.

И тут кто-то славную мне мыслишку подкинул.

— Каша-то, поди, наркомовская, пайковая... Попадет еще.

Братишка, который кулак мне показывал и про Гитлера спрашивал, неподмесным звонкоголосым чалдоном оказался:

— Не обязательно наркомовская. Левака это он со-

образил. Тожно кухольну крысу мы захватили... Сухонька... сытехонька... Ишь — икает..

— Может, он задыхается?! Оттокнуть ему рот да спросить,— посочувствовал кто-то.

— Верно! А то дразним сокн...

И только мне успели затычку изо рта вынуть, закричал я сквозь все Черемушки, на всю «Чертову яму».

— «Чэпэ» захотели? Там два отделения без ужина, а вы!..

И связанными руками, помню, с присеста, ведро стал к спине приподнимать. С гирей еще такой прием практикуют.

— Не цокотись, не цокотись...— отопнул меня чалдон.— Сами чичас выясним... Ну дак как, ребя? — обратился он к разведчикам.

— Мда-а...— промычал кто-ко.— Хороша кашка, да наркомовская...

— С адресом кашка! — отозвался второй.

— Не расстрелявши «языка», эту кашку не тронь... Продаст! Продашь ведь? — спросили у меня.

— Продам! — пообещал я твердо.

— Ну вот...

— Да чего с ним разговариваете?! — задосадовал чалдон.— Учат вас, учат, лопоухих!.. Сто раз эть командиры твердили: действуй, как в боевой обстановке. Ну, ладно... Действую! Захватил «языка» с кашей. Вынес на безопасно расстоянье. Жрать захотел. Как, спрашивается, должон я распорядиться. Соболезновать, что противник натощак спать лягет? В штаб ее волокчи? Ежель понастоящему, как Суворов учил, действовать, то при сичасном нашем аппетите должны мы эту кашу оказачить и будет это само применительно к боевой обстановке. Нам ишо благодарность за расторопность вынесут, ежель хочете знать.

Разведчики засмеялись:

— Брюхо тебя, Сеня, учило, а не Суворов...

— Именно! — закричал я.— Суворов говорил, сам голодай, а товарища накорми. А ты — чужую кашу жрать. Там ие такие же бойцы?!

— Слышишь, Сеня,— закивали иа меня разведчики.— «Язык» ие с проста ума это... Ну ее к шуту и благодарность. Пусть плачут в эту кашу да благодарят бога, что не перевелись еще рыцари в третьем батальоне.

— Так разе...— заотступал чалдон,— в знак благородства разе...

«Сейчас отпустят!» — заликовал я и опять к ведру посунулся.

— Ккуда-а! — опередил меня чалдон.— Не цокотись, сказано! Без тебя доставят... Из которой роты, взвода?

Представил я, что стою перед строем, а взводный Ляшонок длиным своим костлявым пальцем указывает на меня и приговаривает:

— Видали благодетеля? Из плена кашки прислал!

Представил я такую картину и говорю:

— Ладно... Ешьте, паразиты. Не наркомовская это. От раздачи поскребки.

Чалдона вдруг муха укусила:

— Нет уж, дудки, чтобы я ее теперь ел. Подвести хочешь?! Пиши перво расписку, что левака сообразил, тогда съем ложку.

— Развяжите руки,— говорю,— напишу.

Размииаю пальцы, дую на иих, а чалдон вне себя от радости:

— Говорил — кухольиая крыса, так и есть! Сухохонька! Сытехонька! Ус в пшене. Ай да мы, дак мы!

Расписку он даже ие прочитал. Где стоял, тут и к ведру плюхнулся:

— Ротны минометы — к бою!!!

В момеит у кого из-под обмотки, у кого из-за пазухи засверкали над ведром ложки. Ведро сначала басом пело, но уже через минуту звенькать начало. И не успел я попытку к бегству предпринять, как чья-то ложка уж до-

ишка добыла. Чалдон облизывает «ротный» свой мино-мет и приговаривает:

— От это «язык» дак «язык»! Чуть, ястри тя, язык с таким «языком» не проглонул. И где таки родятся — ишо бы одного засватать... С конпотом.

Дали мне в руки порожнее ведро — повели. На допросе я отвечать категорически отказался. Даже фамилию свою не называю. А им ее надо. Маялись они со мной, маялись, и опять же чалдон — цоп с меня шапку и читает на подкладке:

— Кор-ни-лов А. Ондрей, Онтон, Олексей? — перечислил он.— Кто будешь?

— Окулька,— сказал я.

— Чего?! — воспрянул чалдон.— А пошто же ты в поле не сказал нам, что ты Окулька? И мы тоже добры?..— развернулся он к разведчикам.— Вязали человека, рот затыкали, а что Окулька и недощупали.— Ай-я-я-я-яй,— засожалел он.— До свежих веников себе этого не прощу.

Вернулся батальон в обед. На плацу разбор учений состоялся. Где ладно, где неладно. Неладно, конечно, оказалось, что «языка» украли. Притом незаметно. В этом случае часть вины с меня как бы скидывалась. Один против троих все-таки.

Ну, разобрались. Отдана была команда оружье чистить. Чистили полусонные. Обед заодно с ужином выдали. Чтоб не будить лишний раз. Уж и так один браток воткнул нос в кашу и спит.

Я это к чему рассказал? К тому, что в таких вот учениях, если правильно понимаю, не только боевое качество в солдате воспитывалось, а и зло росло, ненависть. Сначала в виде досады на командиров. Вроде той, что добрый, мол, хозяин собаки не выгонит. А когда поползаешь рядом с ними, на посинелые их губы насмотришься, уверишься, что и от мокра, и от мороза одинаково вам льготы отпущены — другое тут начинает твоя голова

соображать. Поточнее адреса выбираешь. И накапливается тогда в солдате истинная драгоценная злость. Сердце от нее, говорят, разбухает, к горлу удушье подступается. Ляшонок не раз повторял:

— Железни душу, ребята. Фашиста — его на лютость берут, на беспощаду. Без злости ты — как винтовка без бойка.

Начну я свою душу проверять, сколько в ней злости накопилось, нет в ней ни рожна. Пакость какая-то около сердца копошится, а настоящей злости нет. Наоборот. Рад я даже, что наравне с другими всякое такое претерпеваю. Ей-богу, рад! Потому что таился во мне постоянный страх. Вот явится, думаю, из Сибирского военного округа генерал, увидит он меня и спросит у взводного:

— А этого молекула кто в строй поставил? Отчислить его, чтобы левый фланг не позорил!

Сам себя подозревал! Вроде какой обман я совершил, что в военной шинели оказался. А все оттого, что заторкали меня с малолетства. Как гусек я с подстриженными крыльями... Однако не сдаюсь! Много ли, думаю, Суворов рослей меня был. А закалялся человек — ледяной водой обливался, на жестких постелях спал, военные упражненья — и вот, пожалуйста. От Суворова к будущим боевым действиям перейду. Тут примериваться начну. Вот стрельнул командир заветную ракету, и бегу я через гремучее поле. Земля подо мной пружинит, в четыре глаза вижу, пальцы к винтовке прикипели, сила во мне дикая — ввухх! Повстречайся-ка с таким головоотпетым!

Как видите, не кашу варить-развозить замышлял.

*



*

ПАМЯТЬ

Память вспять живет. Былому — зеркальце...

Стоит избушка — а в ией старушка. Избушка старая — скворешия иовая. Летит, летит скворец, Седой Дразнилушко, летит из южиых страи и кажет стае путь. Сын чериый с иим, иевестка в крапинку... Встрепещут крылышки, вспружиият горлышки, и взреют песеики...

И когда подадут голоса чиличата-скворчата, идет старушка перекладывать обособлениую в подворье полеиницу. Постарели и темны иа срезах дрова, завериулася в трубки от жаркого солнца и ветра сквозиого тугая береста, ио звоики, иабатиы, певучи, как древиие колокола, белые по сердцевиие поленья.

С убиеииым Афоней пилила.

С убиенным Алешей.

От кряжистых комлей и до самых прогонных вершин недозревшим арбузом березыньки пахли. До последнего волоконца, до смолистого острого клювика взбухнувшей почки напились той весной они, напиталися сластью земной. Грянет-ахнет Алеша литым колуном в сердце стойкому комлю — нету железищу ярому в прыткой упругости дерева ни заклева, ни малого гнездышка. Прыгнет прочь колун, позовьет его, а из тысяч содрогнувшихся устьиц — соки светлые к небу повыбрызнут. И тогда зажигаются над Алешиной, над сыновнею, головой моментальные, беглые радуги. «Аа-ахх!»— и радуга. «Аа-ахх!»— и радуга...

Сгорели во порохе ладные те дровосеки.

Сгорели во вдовьей избушке дрова.

Лишь один кубометр сберегла. Не дала издымиться. Разве можно самой их — в дым...

Вот уже тридцать вторую весну, как подадут голоса чиличата-скворчата, мастерит Денисья Гордеевна сухой, высокий подстил и по штуке, поленцу, по сколышку перекладывает и х н и е именные дрова... Во спасение и х памяти, и х следа, их земной всеподлинности: «А были же! Были о н и рождены! И дышали, и жили! И кололи дрова... Вот их дрова». Прикоснется к полену живая родная ладонь — и замрет... И заслушается. Мнится, вернется, знается ей, что вот этот бодливый сучочек Алеша когда-то потрогал, а этот подкряжек — Афоня вздымал.

Два полена к груди вознесла:

— Здрав-ствуй-те, мужики. Со свиданьем опять. Я постелечку новую вам постелила... Скворчатки проклюнулись.

Тишина.

Тишина.

— Кабы были вы не дрова — щей бы вам наварила. Блинов напекла. Гусака зарубила бы... Ты, Алеша, любил гусачиный пупок!

Так ласкает, сзывает н гладнт любое поленце, пока не дойдет до последиего звоичата сколышка:

— Вот... Потревожнла вас... Скворчата сегодня проклюнулнсь. Лежнте спокойно теперь...

...Избушка старая — скворешия новая.

Как собьются во стаи-ватагн младые скворцы, как взлетят чериой щебетной кучей на выгон, на выпас к Седому Дразнилушке, добывает в ту пору Деннсья Гордеевна нз запечья висячий холстнннный рукав с табаком. Табаку — ему славно в запечье. Два века внснт. Не заплесневеет н не нструхнет. И злобится-то как молодой, сеголетошиий!..

Сугубый сей злак, проннлейскнй сей цнтрус Афоня выращнвал сам. Не бабья то ягодка, не та конопель... Сам рассаду обнюхнвал, сам сажал, сам н пасынковал. Вялнл. В связках провешивал. В тень. Чтоб н зелень н сок не спеша пртомнть. В деревянном корытце рубнл, сквозь железное сито просенвал. Сам. У кого же, с нормальным дыханьем н июхом, глаза от такнх процедур не помутятся, враскосую ие рннутся? Кот в подобный сезон на зады в коноплю н репьн усмыкал, гусакн на подворье тревогу нгралн, подыхалн, вверх лапки, сверчкн... Зло н сладостно же ел табак, зеленой мужнк! Сорок колец — кольцо в кольцо помещала грудь, сорок кренделей губа стряпала. Только ухом дым не пускал, прнбаутошннк. Расчленнл кнсет на завалнике н смущает своей новннкой околоток:

Та-ба-чок — вырви-глаз —
Подходи, рабочий класс!
Курево не пьянство —
Подбегай, крестьянство!

— До тупнков н проулков прорыскнвает,— пускал нескончаемую голубую струю, умнлялся табачной крепостн.

А последннй пóсев не убрал.

В первозимье войны нзрубнла Денисья Гордеевна свнрепый, едучнй его урожай. Забнитует дыханье сырым

полотеицем и доводит в корытце коренья — до мелкоиькой крупки, листочки — в рассыпчатый прах. Той порой вся женушка-Русь посылкн на фронт отправляла. Чья повенчаниая — чьему суженому, чья невестушка — чьему венчаниому?.. Нету ревиости! Любовь, тоску, ласку, золотую иадежду свою зашнвала в холстннкн, делнла меж морем н морем Несмеяна солдатская — женушка-Русь. «Пусть покурят, роднмые. Пусть покурят на праведной бранн высокне, громом крытые русичи! Мужику табак глаз ясннт. Мужнку с табаком черт не брат. И душа при себе...»

Двести трндцать стаканов снесла в сельсовет той зимой Деннсья Гордеевиа. А десяток припрятала. В холстиниый рукав и взапечь. Возвернется Афоня ее и покурнт, хоть на первых порах поуслаждается. Алеша — тот ие курил и ие баловался. Может, начал военным обычаем?..

Вот уж трндцать вторую осень, как собьются во станватагн младые скворцы, добывает Деннсья Гордеевна иа поверку, на надых н дух сорок первого года рождеиия зеленый табак, высыпает его нз холста в то корытце заветиое н бережно, ощупью пальцев, береднт, ласкает оснротевшее, скорбное зелье.

На простенке Афоннна карточка веснтся.

А с Алеши и карточкн нет.

Нешто помнрать собнрался...

— Ну сойди, покурн...— затевает негромкнй она разговор.— Снился ныиче ты мне. Крнкнул эдак по-звонкому: «Донька!! Наклоинся поблизостн»... Понимаю — во сие, а проснуться боюсь. Ведь когда, в кон векн, опять мне такое прнвндтся. Не закажешь ведь сон...

Кот скребнет лапкой в дверь. Чуткий нюх у котов. «Побеги, когда так...»

— Ну сойдн же, сойдн! — отпустнла кота, продолжает негромкнй она разговор.— Покурнлн бы рядышком... Про веньгерского петуха поясннл бы мне...

Не сходит.

Нн на Афоию, ии иа «Гармошечку» ие отзывается. Младочертом глядит с фотографнн. Левый ус, как всегда, в развихреиье, в распыл мелки бесы раздериули, правый, бдительный, тоже проказу и шустрость тант для предбудущей шкоды...

Приключенчецкой жил мужичок.

Звонкопевный, в журавлииую силушку, голос имел, некорыстнеиький ростик, зовомый «попу до пупка», востропятую поспешь в иогах и провориый сметливый ум. Грамотешка церковиоприходская, а иа выдумку, вымысел!.. Упомянутый поп его иезуитом за глаза называл. Потому как Афоня со сцеиы персоиу сню ие отпускал. Начитается Емельяна Ярославского и воиниствует, пьесы домашне-приходские пишет. Попа прямо в опиум бьет, расхрнстосывает. Недели, бывало, ие пройдет, чтобы он чем-нибудь ие окоитузил сословье поповское.

Стародавиий приятель Афоини, заслуженный деревеиский артист — дед Коза, часто про былые проказы его вспомииает. Заведет издалечка, с околнцы, а иаведет иа дружка:

— Никакой отсебятииы в ныиешиих постаиовках! Одио званье осталось, что, мол, самодеятельность... На всякую выходку, чох и ужнмку — готовый костюм подайподиесн. Грнм, парнк, вазелии, обезжиреиный волос... Историчецкн правнльно умей ручку целовать, историчецки стрижеиу бороду клей, по системе ходи, по системе глядн — иикакой, говорю, отсебятииы! А отсебятнна — тем именно дорога, что она-то и есть нстиииая, вселукавая самодеятельиость. А к сему вам пример...

Позатеял Афоня поповские аппетиты иа гыганьки публике выставлять. Написал, зиачит, пьесу, провели репетицию, иадо нам обязательно рыжий парик. Поп у иас, как огиевой лесовик, детинушка, выкуиел... А где прикажете взять рыжий парик, если завтра мы должны в прообразе быть. Закавыка Афоньке, препятствие. Идет в

свою избу-читальню, задумчивый, озабоченный. Между-делком заметил: в затульном одном переулке кобелиная стая нещадно дерется. Клок шерсти под ноги ему ветерком поднесло. Тут его и осенило! Воротился домой, выудил из сестринского приданого подходящий кусочек холстины, иглу, нитки, ножницы сунул в карман, прянул в погреб, разыскал там капустный кочан и на том кочане скроил-сшил парику холстяную основу. Завернул в нее полкалача, плитку клею столярного растопил, портняжные ножни сменил на овечьи и помчал-урезвил к кобелям. У тех драка закончена, раны доблестные зализывают.

— Бобко! Бобонько! — сам рыжего калачом манит, щиплет корочку. А под мышкой капустный кочан обитается.

Подманил, прикормил, и, пока занялся тот калачом, Афанасей успел обкорнать ему шубу-то. Отстригнет клок-вихор густопсовины, обмакнет корневищами в клей и прижамкнет его на холстинку.

— Искусство требует жертвов,— приговаривает кобелю в утешение. И так славно спроворил он этот парик, так уладил его, уложил, расчесал, гривку к шее спустил — ну вот явственный, видный поп. Псиной с клеем маленько, конешно, попахивает, но к такой нужде наш актив не принюхивался. Не то что теперешние. Пудру им подавай, пуховитой бумаги, тона и полутона. Капель вкапни в глаза, чтоб зрачки обалдели. Мы-то, помню, сажей с заслонки тона наводили, краской — чулки бабы красили, румянцы — ожгу, берегись! Овчинными да кудельными бородами исказим себя черт не знай во что — э-эхх, весельюшко!!!

Ладно...

В назначенный день полнехонькая читальня народу натискалась. Раздвинули занавес, и пошла сцена: зажиточный прихожанин попотчевать вздумал попа. Полно блюдо ему — мол, не бедно живем — осетриной икры

выставляет. А была, вам скажу, ие икра, была каша пшеииая заварена, с черникой для виду намешаииая.

— Отведуйте, батюшка,— вилку попу подает.

Поп вилку прочь, а берет здоровеииую ложку. Зачерпнет с горой, рот зараиее разверзит, и пошло в пищий тракт, в благосытиости. Одну ложку, вторую... девятую... Сутки целые перед тем спектаклем я постовался, для правдивости образа.

Дальше так была сцеиа составлеиа: прихожаиии поджался, страдает, болезиует.

— Это же, батюшка, ведь икра... а ие каша,— посылает намеки попу.

— Вижу, вижу, сыи мой,— бугром зацепляет съедомое поп.

— Рубль фунт стоит,— тоскливо напоминает мужик.

— И стоит! И стоит! И как еще стоит! — поближе к себе подвигает ество.

— Тут ведь, батюшка, всех восемь фунтов,— следит хичным взглядом за ложкой мужик.

— Хватит, хватит! Достаточио... Более ие подкладывай,— отстраняет рукой его поп.

— Господь... восемью хлебами... тысячи иапитал! А вы...

— Хорошо что иапомнил! Без хлеба, действительио, что за еда? Так калачиков!

Умииаю я эту «икру» и вижу невзрачиу собачку в переднем ряду — на полу. Прошмыгиула в таком многолюдстве промежду обувки у публики и так-то умильио глазами меня проиицает. Втянет носиком каплю воздуху, и аж судороги у нее на нюхальце явятся, ажио дрожь обозначится.

«Кашки жаждует,— оценяю я.— Вот кто истииио, точно ведает, какова «икра» мне поставлена,— себе думаю.— Пятьсот запахов, говорят, различает песья ихняя аппаратура в заноздриях!»

Чула, чула собачушка и видать, должно быть, доию-

хала и опознала в моем парике гулебный единоплеменной дух. Ей, оказывается, шанцонетке, не каша блазнила, а кавалером надыхивалось. Пахнет, а где и откудова, до сознания никак не доходит. И случилось на этой почве с ней буйное помешательство. Эко как взревновала, взрыдала, отчаялась тонким пронзительным голосом, аж из шкурки своей выдирается — лает. Я ей — «Цыц! Цыц!» — шепотком заклинаю, внушением внушаю — никакого воздействия. Пришлось занавес перекрыть и собачушку ту с применением физичецкой силы из зала тащить-волочить.

Вот была самодеятельность!

А какой резонанц?

Бабка Марфа, покойница, после спектакля повдоль мне хребтины, со шкуросъемом, с протягом, два раза свою кочергу разместила. Я, калека, дышать не могу с перегрузу, с недоваренной приторной каши, крупы начали в соках-кислотах взбухать, а она, старушня, в суеверном припадке в затылок, в талантливу шишку железом мие метится.

— Обратят тебя черти во пса богомерзкого! — с фанатизьмом и злобиостью реплики мне подает.

Досталось от бабки, а наутро зовут в сельсовет.

— Ты поблагостней бы чуток! Вот к чему с кобелем на башке выходил? Или кто подсказал?..

— Дед-суседко шепнул,— скалит зубы Афонька.— Сослуживцы мы с ним... Он — домовой, я — избач. Спектакль же под страхом угрозы был!

— Ты же чувствия верующих в нуль не ставишь! Нешто можно по-беспощадному? Ведь и поп — гражданин!

— А-а-а...— отмахнется Афоня.— Их сам Пушкин в прошедшем девятнадцатом веке еще не щадил! В открытую намекал:

Попадья Балдой не нахвалится.
Поповна о Балде лишь печалится,
Попенок зовет его тятей...

— Вразумляет вас? Тя-я-ятей!..— палец глубокомысленно под потолок вознесет.— Далее пронаблюдаем:

Балда нянчится с дитятей.
Яичко испечет, да сам же и облупит...

— Хе! Стал бы он чужой крови яичко облупливать?! Он хоть и Балда, а небось не совсем обалдел... Свой дитя и балде мил... Ну... Всем по кисточке! — ладонькой взмахнет.— Побежал Емельяна читать. Про библейских перепелов...

Председатель исполкома — заядлый охотник:

— Погодь-ка.. А чего там про перепелов?

— Стародавнее дело! В Монсеев исход из Египта случилось. Возроптали ведомые им иудеи, что-де мясо давно не едали. Токо манна да маина небесная. И наслал господь тогда на них перепелов. Подлетают оии и валятся кверх брюшком, разннувши клюв. Иудеи иеделю их жарят, другую и месяц уже жигитуют-харчуются. Писание гласнт, что впоследствии из ноздрей у иих мясо полезло. До тошнотиков, значит...

Вот так завсегда! Отбоярится Пушкиным или Бедным Демьяном, перепелок библейских мобилизует, а последнее слово оставит опять за собой.

Прнключенческой жил мужичок!..

Двое нх на деревне было гармонистов — Васька Лахтин н он.

Ты играй, играй, тальяночка,
Играть бы тебе век,
Не тальянка завлекает,
Завлекает человек.

Васька Лахтии-то квашня был. Стоит раз-другой по ладам пройтнсь, разыскать мотив, ухом взнеженный,— туп что надолба, малый делается. Взор бессмысленный, губа свесится, истукан сидит.

Играл славно, а морда — шаньга.

Шура, Шура белая,
За Ермилкой бегала:
За Ермилкой-то ништо!
За Егоркой-то пошто?

Не человек спел, а бочонок порожний отгулкнулся. То ль Афонюшка, самородушек!

Склонит правый ус на тальянкин стан, укуснет ему кончик, вцепит дрогнувший безымянный палец в звонку пуговку, в белый гармошкин сосок, и выбрызнется из него хмель-хмелинушка, захмеленное «соловьиное молочко».

Глаза в посверках, чуб на лоб падет — отметнет его, ноздри в изломе белеют. Захлебывается, задыхается его душенька музыкой.

Доне тоже тревожно, разымчиво сумятно. Тревожно и сумятно девушке...

Вспорхнут в белы груди неподсвистанных два соловья и клюются, вонзаются острыми клювиками. До одрожья девичьего... До состенания невнятного.

«Кыш! Кыш вы, разбойники сладкие! Изранилося сердце у девушки. Обуяло головушку... Вот возьму и на честном юру, на миру — отберу, уведу, уворую Гармошечку!»

Увела один раз.

Белый девичий плат в крови вымочила.

На пасху случилось.

Оббежал Афоня на заре активистов-артистов своих:

— Ребя! Ребя! Ребятушки!! — сыпал, сеял покатую скороговорочку.— Сегодня в разгаре похода к заутрене... Верующих отвлекчи... Учиняем на взгорке у церкви татарску, цыганску, французску и русску и прочу любую борьбу! Молодняк, холостежь заднрайте, подшкурнвайте. Ну и старых любителей...

Васька Лахтин своей холостою ватагой идет. Не гармошкой одной он с Афоней соперничал и к Доне тоже лопаты тянул. Позабыл, что у мельника дочь на засыпке кулями ворочает. Ну и съел по скуле.

Вышли два гармониста бороться.

Один сажень косая, а другой, коренастенькой хоть, но «попу до пупка». Сколь ни взметывал Васька Афонюшку, он, как куколка, которую «встанькой» зовут. Ровно кот изворотливый, все на ногах.

Ломанул тогда Васька, повыбрал момент, через спину-хребтину свою удалого Афонюшку. От такого приема каблуки у борцов отлетают, шеи ломятся, воздуха́ отшибает.

Струйка крови у Афони изо рта побежала.

Вот тогда — увела.

Отпоила у бабушки Настеньки полесовыми тайными травами, барсучиным пользительным салом поправила милую грудь.

«Гармошечка мой!..»

Дождались Алешу.

...Грянет-ахнет литым колуном в сердце стойкому комлю, и зажигается над сыновней головой моментальная белая радуга. «Аа-ахх!» — и радуга... «Аа-ахх!» — и радуга.

Алешу в третий день призвали.

Афоню — в день сорок седьмой...

Той зимой вся женушка-матушка Русь посылки на фронт отправляла. Грудились околотками, рано так, ох как рано-то, стосковавшиеся молодушки. Отрубают по мягкому паю мясца, просевают сквозь частое сито по паю муки и под тихий неозорной разговор лепят и лепят пельмешек к пельмешку. Чья невестушка — чьему венчанному, чья венчанная — чьему суженому?.. Нету ревности. Пусть согреются в лютых окопах высокие милые русичи. Пусть отеплит их души живое родное дыхание заснеженных женственных деревенек. Пельмень мужику десницу свинцом наливает! Пельмень мужику жить велит!

Суеверно закладывали в некий сочень монетку. На счастье. На жизнь. На невредную рану. На Великую

Матерь-Победу... Заложила два гривенничка и Гордеевна.

Отписала своим:

«Мои гривеннички — над звездой напильником тронуты, под звездой у них дырочки пробиты. Двадцать первого года чеканки. Серебряные...»

И ведь надо же!

Открывает Денисьюшка лампасейную банку-жестянку, в которой хранятся военной поры треугольнички.

— Не желаешь курить — не вольна над тобой. Тогда слушай хоть... Твои письма тебе почитаю. Без очков-то теперь не могу.

Треугольнички...

«Всемилая радость моя, жена дорогая, Денисья Гордеевна! Сообщаю во первых строках — спас ведь, спас мою некорыстную, многоповинную жизнь твой заветный серебряный гривенничек!

Поедали мы эти пельмени из громадной всеобщей посудины. Торопились, известное дело, потому как над общей посудиной ложки соколами взлетывают. Смел — два съел, по обычаю. В такой обстановке не стал выплевывать гривенник, недосуг мне разглядывать, где там напильником тронуто, где продырявлено, чуял лишь, как созвенькала деньга об зубы, а вослед я ее вгорячах проглотил. Было это на темной заре, а по синему свету пошла рота в атаку.

Пуля низила меня в саму область желудка, и прошла бы, лихая, она позвоночник, если не твой золотой бы, жемчужный, серебряный гривенничек. Взреял, видать, гривенничек на ребро, и тогда-то, в тот миг, в него клюнулась моя смертная первопоследняя пуля. Тут она, проклятая, и обессилела! Не смогла прошибить русский гривенничек.

Хирург добыл ее у нас из желудка, а рядом и добыл монетку. Над звездою напилком, действительно, тронуто, под звездою, действительно, дырочка пробита... Вот гляжу

я иа иего в больиичиой палате, иа махоиький твой и ие раз иа дню плачу тихонечко. И кричигают-скрипят зубы мои от злостн и гордости. «Не возьмешь, лихой и здыморылнстой враг! Даже гривеиички у иас — иа ребро! По-го-дн-и-и, мы еще с тобой посчнтаемся...»

Свертывается, едва шелестя, воеииой поры треугольничек.

На деревне такую оказню судили по-всякому:

— Могло и случнться. На войие прнтча рядышком ходнт. Ииой раз и пуговка жнзиь человеку спасает.

А иные — те говорили:

— Загибает Афонька. Истии бог, загибает. И в самом лазарете неймется ему, скоморошииу!..

А Деиисья Гордеевна верила. Вернла — сберегла, ущитнла Афоиюшку. Ои всегда для нее был иемиожко ребеичишком. Эко, вспомнить: придет под хмельком, мужикамн иауськаииый... Те зуднли-подшучивалн, мол, Деннсья тебя, Афанасей, вилами иа стога подиимает н сорочьн-де гиезда зорить заставляет по легкость-комплекции. Опять его мелкоиький ростик подсменвали. Придет под хмельком, мужнками иауськаииый:

— Донька!!! Наклоиися поблизости — лупцовать тебя буду!

Ну, пошумит, утверднт себя. Главное было не рассмеяться, не изобидеть его. Если стукнет, добудет когда до болятки, крылатки позатисиешь ему н в кадушку с холодиой водой — головой. Умакнешь раза два или трн, чтобы в ноздри водицы набрал — и отфыркивайся, грозный мой государь! Больше драться ие смеет. Словами теперь пузырнться иачнет:

— Не хочу-у курятины — дай мие петушатины!!

Отеребншь ему петушка.

Гармошку на внд, на глаза ему выставишь.

Склоинт правый ус иа тальянкин стан, укусиет ему коичнк бднтельиый... еще мокреиькой...

Мир.

Детей-то, всего лишь Алеша случился, вот и избывалось оно, материнство, на них двоих поделенное.

«Пуля-смертынька,— шепчет Денисья Гордеевна.— Ты не все возьмешь! Лишь свое возьмешь. Есть па-амя-ять!.. Любовь есть...»

Треугольнички...

«Всемилая радость моя, жена дорогая, Денисья Гордеевна! Рассказывал нам политрук, как в котором-то веке крестилась в Днепре наша Русь. Ныне снова она почитай что крестилась.

Плыли мы на плацдарм — его надо еще захватить, удержать — плыли мы кто на чем. На лодках, на бревнах, на бочках, на плащ-палатках, соломой, и сеном, и кукурузным будыльем натисканных, на связках хвороста, на водопойных колодах, на бабьих корытах, на прочих иных чертопхайках — я же плыл на свиных пузырях. При поспешном своем отступлении перестреляли немецкие интенданты породных свиней и иную окрестную живность, чтобы, значит, при встречах геройского нашего фронта не взлаено было, не хрюкнуто и не кукарекнуто. Свинота была еще теплая, и назначен я был, в составе нашего взвода, палить их и свежевать.

Не забудь: впереди был Днепр. Доносилось до командиров, что придется форсировать эту преграду с ходу — с ходу в воду, без броду, на всяких подручных средствах. И вот тут-то, когда свежевал я свиней, почему-то припомнилась мне ребячья крестьянская наша забава. Свиный надутый пузырь вдруг припомнился. Засекретишь бывало в него три-четыре горошки для грохоту, понадуешь, завяжешь, подсушишь и льняною суровою ниткой наростишь к кошачьему хвосту. Эко было весельюшка, хохота — в цирк не ходи!

Вынул я девять штук пузырей, круто их присолил, пересыпал золою, и вместилися у меня «подручные» эти средства в одну консервную банку. А банка в один уголок вещмешка. Ну и дале — вперед Афанасий...

Близ Днепра раскатал пузырье я в поле, камышинкой, по степеиь объема, иадул, два — иа самую шею себе привязал, трн — под грудь, остальиые четыре — иа рукн н иогн. Оружейны прнемы опробовал — получается ладненько, гранату свободно могу зашвырнуть, даже, мыслю, стрелять на плаву смогу, так как руки свободиые. Кругом в легкостн.

Посмотрел иа меня старшина подозрительно и говорнт:

— Стратегнк!.. Да тебя любой ерш либо окунь подколет.

— Погляднм,— говорю.— Там увиднм! — гремлю пузырямн.

И тут во всем-то свиноубранстве был застнгнут внезапно комаидующнм нашего фронта.

— Это что за воздушиый вдруг шар на земле объявился? — у нашего ротного спрашнвает.

— Изготовлеи форсировать реку, товарнщ командующий!

А комаидующнй наш тоже носнт усы. Стоим два усатика друг перед другом. У меня онн в строгостн — уснн-ка не дрогнет, а у товарищ комаидующего засвербелн они, заподергивалнсь...

— Чннгнсханы,— говорнт,— иа кобыльих требухах водные преграды одолевалн, а этот, вндали, чего отчебучнвает?..

Улыбаться нлн хмурнться — не знаю. Стою, молчу. Мое дело вжнве Днепр переплыть.

— Сфотографнровать его при всех пузырях — и в газету! — прнказал адъютанту комаидующий.— «Нет предела солдатской смекалке» — такой рубрик поставнть. Пожнрней наберите!..— И ко мне обращается:— Стало быть, доплывешь, доберешься, сержант, до Высокого Берега?

— Рядовой, товарнщ комаидующнй!

— Сержаит, говорю! Повторяю!..

— Доплыву, товарищ командующий!! Кровь с носу, дым с уха! Лопни мои пузыри! — заклятье даю.

Смеется опять, улыбается.

— Не забывайте, ребятушки,— к остальным обращается.— За захват и последующее удержание плацдармов на том берегу приказал нам Верховный Главнокомандующий не жалеть никаких орденов. Даже Звезд Золотых не жалеть! На монетном дворе по три смены работают.

Вот такой разговор...

Сфотографировать меня не успели. Взревела, взъярела наша артподготовка. А следом бомбежка. Фашисты — взаимно. Небу жарко — поют херувимы стальные!

И ринулась Русь опять в свою первозданную Реку.

И ринулись с Русью во Днепр единоприсяжные в братстве племена и народы Совецкой Нации.

Над головами — шрапнель и бризанты, кругом фугасы рвутся, в рот, в заглот тебе, в очи, в темечко пули летят, в плечи, в груди, в ребра оскольчаты мины целятся...

Один мой пузырь, чую, дух возле уха, от пульки должно, испустил.

А у меня еще восемь!

Второй, знать, пронзило осколышком.

А у меня еще семь!

Третий по детонации лопнул.

А у меня еще шесть!

«По-го-ди-н-и, крутолобенькой!..»

Кипит и взмывает к небушку Днепр, солят его немцы гремучим тротилом.

Вот он, вот он, Высокий тот Берег!

Внжу, кустик шиповника рдеет...

У меня только три пузыря, а сам цел.

«Теперь я, товарищ командующий... Верховный наш Дедушко... Теперь я на собственном родном своем доплыву!»

Кустик рдеет, и ягодку видно.

Ягодку видио!!

«Держись, крутолобенькой!..»

— Безуиывная твоя головушка! — отрывается от письма Денисья Гордеевна.

Третий шелестит треугольиичек:

«...На плацдарме мы бились поболее месяца, а потом одолели фашиста — пошли. Утром, шестого иоября, в каиуи праздника, вступили мы в Киев, и в этот победиый момеит по усталому иашему войску, под дыхание полкам и под самое сердце дивизиям ударили кневские колокола. Вот чего мы еще иа войне не слыхали и слышать не чаяли. У бойцов-украиицев от первых же звоиышков высекло слезы, ие выдюжили и иекоторые сибиряки. Слеза — ей только дорожку иаметить... Вот скажи ты!.. Возвысилась, взреяла грудь, заселили ее сокола и орлы медногласые, закогтились в душу мою и высоко, высоко, и чутко, и зорко поиесли ее над большим и великим поиятием — Роднна. И уж минлось, сплавлялось — шагаю по Киеву вовсе ие я, малорослый Афоиька-опупышек, а шагает вся рода моя до колен Святославовых, целовавшая меч у Отечества, коиям ратиым храп пеииый подолом рубахи своей утирающая. Реют, реют иад иашими раиами, над иебрито-иемытыми ротами орлы медиогласые — Победу поют! Победу поют! Славой веичают! Раны крылами овеивают! Вот чего иа войне ие слыхали и слышать ие чаяли. Плакал я, Доиюшка... Слеза, тварь, — ей ведь только дорожку иаметить. Да и то сказать, давио уж, давно ие держал я в руках мою милку-тальяиочку и давно уж, давио не пивал от иее «соловьиного молочка». Душа отощала и сделалась страиио-приимчивая...»

«Пуля-смертынька! Ты ие все возьмешь...»

— Ну, сойди... Покури... — из поблекиувшей рамки, из невиятных мнров опять вызывает Гордеевна дорогого Афоиюшку.

Нет, Деинсьюшка, нет...

Ни любым табаком, нн иаполиеиной чарой внна ие воззвать, не подиять их из братской могнлы. Обнялнсь там высокие, светлые руснчн, оиемели, слеглись, как ложатся в горннла штыкн, им званне — Росснн Старшнны Бессмертные. Лншь однн подзиамениые духн исходят нз этнх могил, вкруг знамеи иаших реют, иезрнмые, по казармам, в полуночь, прнсяжным виучатам своим молодые ресиицы овенвают, проверяют оружие и заслугнзиачкн иачищают на нх гнмнастерках к тревожной заутрене.

— Вндно так... не сойдешь,— складывает Денисья Гордеевиа военной поры треугольинчкн.

А на выгон, к Седому Дразнилушке, все летят н летят молодые скворцы.

— Ну, табак... Марш в рукав. Полежн. Будет час роковой — внукам-правнукам дам закурнть. «Заверннте, парннщкн, дедушкова. Причаститесь-ка, повдохните от духа его отбронелого, всепобедиого, безуиывного... Прнключенчецкой жил-был дедушка!.. Пулн с грнвиами ел, а окуркн выплевывал. В трех державах окуркн выплевывал, зеленой мужик!»

И глядит, и глядит на Афоию, н ласкают, и греют былого Гармошечку негаснмо-родные глаза:

— Так, Афоиюшка? Ладно сказала?

А с Алешн н карточки нет...

...Память, память моя!.. Женственные заснеженные деревеньки...

*

1973 г.

Ермаков И. М.
Е72 Солдатские сказы. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1978.
176 с. с ил.
Сборник сказов тюменского писателя.
Е $\frac{70803-086}{М158(03)-78}$ Р2

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 483

Иван Михайлович Ермаков
СОЛДАТСКИЕ СКАЗЫ
Для старшего школьного возраста

Редактор М. П. Немченко. Художник Ф. И. Божко. Художественный редактор Г. И. Кетов. Технический редактор К. Г. Проскурникова. Корректоры А. Г. Богородская, И. П. Никитина.

Сдано в набор 25/V 1977 г. Подписано в печать 17/X 1977 г. НС 34136. Бумага тип. № 1. Формат 70×108/32. Уч.-изд. л. 8,1. Усл. печ. л. 7,7. Тираж 100.000. Заказ 319. Цена в коленкоре 45 коп., в двунитке — 60 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.





